Н. Долинина

По страницам «Войны и мира»

Издательство «Детская литература»





Н. Долинина

По страницам «ВОЙНЫ и МИРА»

Заметки о романе
Л. Н. Толстого
«ВОЙНА и МИР»

Ленинград
«Детская литература»
Ленинградское отделение
1989

8Р1
Д64

Издание третье

Книга Н. Долининой «По страницам «Войны и мира» продолжает предыдущие работы того же автора: «Прочитаем «Онегина» вместе» и «Печорин и наше время». Вместе с читателем автор размышляет о романе Толстого «Война и мир», о картинах жизни нашей страны и ее народа, изображенных в эпопее великого писателя, о его литературном мастерстве. Но «Война и мир» сегодня для нас — книга не только об исторических событиях прошлого. Роман Толстого остро современен, потому что на его страницах перед нами встают проблемы мужества, честности, патриотизма, дружбы, любви, верности — те нравственные вопросы, которые каждый человек непременно решает для себя сегодня, как и сто лет назад. Об этих нравственных проблемах, о том, как разрешаем мы их сегодня, идет речь в книге «По страницам «Войны и мира».

Рисунки А. Слепкова

Долинина Н. Г.

Д 64 По страницам «Войны и мира»: Заметки о романе Л. Н. Толстого «Война и мир» / Рис. А. Слепкова.— Изд. 3-е.— Л.: Дет. лит., 1989.—256 с., ил.
ISBN 5—08—000174—7

Размышления литературоведа и педагога о романе Л. Н. Толстого «Война и мир», о его значении в развитии русской литературы и о тех нравственных проблемах, которые волнуют читателей и сегодня.

Д $\frac{4603000000-168}{М101(03)-89}$ 7—89 **8Р1**

ISBN 5—08—000174—7

I

— Навсегда? — сказала девочка.— До самой смерти? — И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.

1. Первые страницы

В «Анне Карениной» увлекательное начинается сразу, с первых строк:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

Все смешалось в доме Облонских».

Мы погружаемся в чужую сложную жизнь, едва успев открыть книгу. Мы сочувствуем и бедной Долли, и ее растерявшемуся грешному мужу; мы ждем главной героини — той, чьим именем названа книга, и она появляется, сияя победным очарованием; мы влюбляемся в нее вместе с Вронским, уже не в силах оторваться от книги, движимые самым естественным из читательских вопросов: что будет дальше?

К «Войне и миру» надо пробиться через непонятность первых фраз и страниц, может быть, даже глав.

Почему я должна интересоваться тем, что сказала (да еще по-французски!) какая-то *известная* (кому она известна?) Анна Павловна Шерер, «встречая важного и чиновного князя Василия» в июле 1805 года! Какое мне сегодня дело до Генуи и Лукки, превращенных Наполеоном в свои «поместья»! Нисколько мне не нужны и только зевоту вызывают все эти виконты и аббаты, собравшиеся у фрейлины Шерер (кто такая фрейлина, я не знаю и знать не хочу).

Так или примерно так рассуждают почти все молодые люди, начинающие читать «Войну и мир». Так думала когда-то и я, продираясь сквозь непонятный мне разговор двух немолодых светских людей.

Но что-то застряло в моем мозгу, пока я раздраженно читала первую страницу,— может быть, именно слово *известная* в применении к Анне Павловне Шерер или то, что князь Василий вошел в гостиную «с светлым выражением плоского лица».

Что значит — плоское лицо? Круглое, как блин? Или — с невыразительными чертами, маленьким носом, стертое, незначительное? Или слово «плоское» определяет вовсе не форму лица, а его выражение — говорят же: плоская шутка, плоская острота. Но почему тогда это выражение светлое?

Французский текст разговоров остался пока за пределами моего сознания, а вот в русском возникло что-то, не позволяющее отложить книгу. Может быть, светлое — то выражение, какое князь Василий хотел придать своему лицу, а плоское — то, которое сохранялось на лице против воли князя Василия?

Естественный читательский вопрос: что будет дальше? — возник у меня с первой же страницы, но не в обычном своем смысле: что случится с героями, а в другом — чем еще, каким словом, жестом, деталью остановит меня Толстой и, не позволяя читать дальше, прикажет задуматься...

Толстой, как и Пушкин, у каждого свой. И не один — он меняется с годами, он разный у одного и того же человека в молодости и позже, он меняется несколько раз за нашу жизнь, как меняемся мы сами.

Мой Толстой недобрый, но всезнающий, как бог. Он может заблуждаться в своих идеях, и эти идеи бывают чужды и непонятны мне; но никогда он не ошибается в понимании души человеческой; хитрыми маленькими глазками он видит людей насквозь; его сильные крестьянские руки быстро раскладывают на столе пасьянс, и домашние знают: что-то не ладится в работе, раз он долго сидит за картами, а он в это время слышит пронзительный крик старого князя Болконского, видит то быстрое движение, которым Наташа стала на колени у постели раненого Андрея, чувствует безумный стыд Пьера: зачем, зачем он сказал Элен три французских слова: «Je vous aime...»

В первых главах Толстой, казалось бы, спокойно и неторопливо описывает светский вечер, не имеющий прямого отношения ко всему, что будет дальше. Но здесь — незаметно для нас — завязываются все нити. Здесь Пьер впервые «почти испуганными, восторженными глазами» смотрит на красавицу Элен; здесь решают женить Анатоля на княжне Марье; сюда приезжает Анна Михайловна Друбецкая, чтобы пристроить своего сына на теплое местечко в гвардии; здесь Пьер делает одну неучтивость за другой и, уходя, собирается надеть, вместо своей шляпы, треуголку генерала... Здесь становится ясно, что князь Андрей не любит свою жену и не знал еще настоящей любви,— она может прийти к нему в свой час; много позже, когда он найдет и оценит Наташу, «с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке»,— Наташу, на которой не было светского отпечатка,— когда нам вспомнится вечер у Шерер и жена Андрея, маленькая княгиня, с ее неестественной прелестью.

Все нити будущего романа завязываются здесь, на вечере у Шерер. И за всем этим стоит недобрый старик с острыми глазами, выглядывающими из-под низких бровей. Я знаю, что Толстому, когда он писал «Войну и мир», не было сорока лет,— в моем восприятии он все равно старик с насупленными бровями, с раздваивающейся бородой, мудрый и всезнающий.

Его молодые портреты — тот, например, где он, начинающий литератор в офицерском мундире, стоит среди великих: Тургенева, Островского, Гончарова,— его молодые портреты связаны для меня с «Севастопольскими рассказами», с «Детством», «Отрочеством» и «Юностью», а вот «Войну и мир» — не знаю, не понимаю, как мог написать человек еще не старый, и невольно приписываю, прибавляю ему лет двадцать, если не тридцать.

Уже на этих первых страницах есть вещи непостижимые. Вот, например: «Как хозяин прядильной мастерской, посадив работников по местам, прохаживается по заведению, замечая неподвижность или непривычный, скрипящий, слишком громкий звук веретена, торопливо идет, сдерживает или пускает его в надлежащий ход,— так и Анна Павловна, прохаживаясь по своей гостиной, подходила к замолкнувшему или слишком много говорившему кружку и одним словом или перемещением опять *заводила равномерную, приличную разговорную машину*». (Курсив

мой.— *Н. Д.*) И дальше: «*Вечер* Анны Павловны *был пущен. Веретена со всех сторон равномерно и не умолкая шумели*». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Каждый раз, когда я это читаю, хочется посмотреть страницу на свет — как это написано и нет ли еще чего-нибудь за строчкой. Но дальше обнаруживается, что Анна Павловна угощала своих гостей виконтом, «как хороший метрдотель подает как нечто сверхъестественно-прекрасное тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его в грязной кухне», и что «*виконт* был подан обществу в самом изящном и выгодном для него свете, *как ростбиф на горячем блюде*, посыпанный зеленью». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Когда я все это читаю, мне кажется невозможным, что земной человек мог найти все эти слова про веретена и кусок мяса; не верится, что Толстой, как все люди, ел, спал, любил своих детей, огорчался их болезнями, раздражался, обижался, ссорился из-за мелочей с женой...

В том-то и есть, наверное, величие гения, что он такой, как все, и не такой, как все; что в каждой его строчке скрыта еще одна глубина — а как найдешь ее, за ней встает еще одна, и следующая, и новая — исчерпать все невозможно, можно только перечитывать и перечитывать, каждый раз находя новое и новое даже в раздражавших некогда первых страницах с их французским языком, виконтами и фрейлинами.

2. Князь и княгиня

С той минуты, как князь Андрей Болконский вошел в гостиную Анны Павловны Шерер, он привлек мое внимание — чем? Своей непохожестью на остальных. «Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уж надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно». Всем остальным интересно в этой гостиной, потому что здесь, в этих разговорах, сплетнях, восклицаниях, вся их жизнь. И для жены князя Андрея, прелестной маленькой женщины, здесь — вся жизнь. А для князя Андрея?

«Из всех же прискучивших ему лиц лицо его хорошенькой жены, казалось, больше всех ему надоело. С гримасой,

портившею его красивое лицо, он отвернулся от нее». И — через несколько минут, когда она обратилась к нему кокетливым тоном,— снова «зажмурился и отвернулся».

Сухой, надменный, неприятный человек — таким знают его гости Шерер. Таким впервые видим его и мы. Но что-то уже привлекло нас к нему — и хочется понять: неужели князь Болконский всегда, со всеми так сух и неприветлив?

После вечера у Шерер Болконские вернутся в свою богато отделанную квартиру, где все «носило на себе тот особенный отпечаток новизны, который бывает в хозяйстве молодых супругов». Но и дома князь Андрей не станет ласковее с женой.

«— Твой доктор велит тебе раньше ложиться,— сказал князь Андрей.— Ты бы шла спать».

Когда она вошла в его кабинет, он *учтиво* подвинул ей кресло. Потом, выслушав несколько ее фраз, «с холодною *учтивостью*... обратился к жене». И, наконец, добившись, чтобы она ушла, встал и *«учтиво, как у посторонней»*, поцеловал руку. (Курсив мой.— *Н. Д.*)

За что? Почему он так холоден, так внутренне груб с женой — при всей внешней учтивости, трижды замеченной Толстым?

Мы ничего не знаем об истории этого брака, но легко можем представить себе, как все было. Вечера в светских гостиных и балы в блестящих залах — князь Андрей ездил на них, потому что надо же куда-то ездить и, кроме того, вся жизнь знатного Петербурга проходит здесь; он танцевал с женщинами, потому что на бале нужно танцевать (так он сам скажет позднее), и женился потому, что нужно же когда-нибудь жениться, а девушка была хорошенькая и веселая, ее приподнятая верхняя губка казалась «ее особенною, собственно ее красотой...» Он женился на прелестной девушке — и она вышла замуж за красивого, богатого и знатного человека; кого винить в том, что этот брак обернулся горечью и страданиями для обоих?

В гостиной Шерер «всем было весело смотреть на эту полную здоровья и живости хорошенькую будущую мать, так легко переносившую свое положение», и мы не сразу понимаем, что раздражает князя Андрея. Но дома, войдя в кабинет мужа, княгиня продолжает «тем же кокетливым тоном, каким она обращалась и к посторонним»:

«— Отчего, я часто думаю... отчего Анет не вышла

замуж? Как вы все глупы, messieurs, что на ней не женились...»

Она говорит это своему мужу и двадцатилетнему Пьеру — о сорокалетней Анне Павловне Шерер. Кто из них должен был жениться на Анне Павловне?!

Князю Андрею опостылел этот кокетливый тон, эта легкая болтовня, это нежелание задумываться над своими словами — но ведь раньше, совсем недавно ему все это нравилось!

Как и всякая женщина, маленькая княгиня не может понять, что ее очарование уже не производит впечатления. Она ведь не изменилась, она всегда была такой. Почему же Андрей больше не восхищается ею?

Она по-своему заботится о муже: «Я ему все говорю: здесь он адъютант у дяди, самое блестящее положение... Он так везде принят. Он очень легко может быть и флигель-адъютантом... Мы с Анет говорили, это очень легко было бы устроить...»

Удивительно: мы, едва знакомые с князем Андреем, видевшие его совсем недолго в гостиной Шерер, уже поняли: этот тон и этот разговор невыносимы для него, глубоко ему отвратительны,— а она, его жена, не понимает этого. Но ведь искренне не понимает и страдает от своего непонимания: «Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом».



Легче легкого осудить княгиню: глупа, легкомысленна, труслива... Но как случилось, что умный взрослый человек — не мальчик! — женился на ней? Что привлекло его раньше и почему теперь каждый шаг жены раздражает его? Что же ему теперь делать, раз она стала его женой и ждет ребенка? Разве это благородно — ежеминутно

унижать ее учтивой холодностью, нескрываемым раздражением?



Вовсе не просто решить все эти вопросы. Толстой знает: никто не виноват в том, как сложилась жизнь молодой семьи Болконских,— и оба виноваты, и никто не может изменить того, что случилось, потому что отношения двух людей легко разрешимы только со стороны, а изнутри все сложно.

«Я иду потому, что эта жизнь, которую я веду здесь, эта жизнь — не по мне!»

Так ответил князь Андрей на вопрос, зачем он идет на войну. «Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти. Я теперь отправляюсь на войну, на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь». Вот почему мы прощаем князю Андрею его обращение с женой — потому что видим: он мучается, несчастлив, страдает, судит себя, потому что жизнь, которую он ведет, не по нему!

Через несколько недель князь Андрей привезет жену туда, где он вырос, в тот воздух, который сформировал его. В старом доме Болконских в Лысых Горах столкнутся два мира: в одном из них будут жена князя Андрея и лживая француженка мамзель Бурьен; в другом — старик Болконский и князь Андрей. Сестра его, княжна Марья, попытается примирить эти два мира, но они непримиримы — и душой княжна Марья все равно останется с отцом и братом.

Вот молодые Болконские входят в дом отца. Маленькая княгиня поспешно идет к княжне Марье. Андрей с «учтивым и грустным выражением» следует за ней. У самой двери он «остановился и поморщился, как будто ожидая чего-то неприятного». Он знает наперед, что сейчас будет сцена радостной встречи, хотя его жена и сестра виделись только один раз, во время его свадьбы; знает, что для сестры эта встреча и правда радость в ее одинокой, замкнутой жизни, а жена будет так же искусственно весела, как в светских гостиных и его кабинете, потому что естественной он ее не видел никогда.

И действительно, после поцелуев и объятий княгиня весело и оживленно заговорила о петербургских сплетнях, о своих платьях и между всем этим — о том, что Андрей переменился, покидает ее, идет на войну...

Конечно, она страдает, конечно, боится за Андрея — и еще больше за себя: пустой и темной представляется ей жизнь в деревне. Но и страдание ее выражается в привычной неестественной и даже кокетливой форме. Виновата ли она, что так незначительна по своей человеческой сущности? Вероятно, все-таки виновата: ведь рядом с ней — князь Андрей, как же ничему, совсем уж ничему у него не научиться? Не хочет она учиться, потому что довольна собой, ослеплена собой, и мысли у нее не может возникнуть, что князь Андрей искал в ней не того, чем восхищаются Ипполит Курагин и Анна Павловна Шерер...

За обедом, в присутствии старого князя, она опять привычно, естественно неестественна: бедняжка привыкла, что ее болтовня очаровывает слушателей, где ей понять, какое впечатление она произведет на старого Болконского, если она и Андрея-то не понимает! Маленький светский ум ее не в силах постичь двух крупных людей, с которыми свела ее судьба; в этом доме ей кажется родной только насквозь фальшивая мамзель Бурьен.

В том мире, где живет маленькая княгиня, нужно приходить в восторг от встречи с полузнакомыми людьми и можно жаловаться им на самого близкого человека — мужа. В мире князя Андрея этого нельзя.

Встреча молодых Болконских с отцом и сестрой князя Андрея происходила почти сто семьдесят лет назад, но и сегодня нам важно знать, как быть честным в отношениях с близкими, как сохранять свое достоинство. Правила, по которым живет князь Андрей, возвышенны и благородны: человек не имеет права опускаться до жалоб на того, кого сам избрал спутником своей жизни. Мир маленькой княгини — узкий и пошлый — не знает этих правил чести.

Князь Андрей откровенен с сестрой, но и ей он не откроет горькой правды:

«— Знай одно, Маша, я ни в чем не могу упрекнуть, не упрекал и никогда не упрекну *мою жену*... (Курсив Толстого.) Но если ты хочешь знать правду... хочешь знать, счастлив ли я? Нет. Счастлива ли она? Нет. Отчего это? Не знаю...»

Мне не жалко маленькую княгиню — ничего не могу с собой поделать. Меня, как и князя Андрея, раздражает ее болтовня, ее хорошенькое личико с животным выражением — то беличьим, то собачьим; мне не жалко, когда муж почти выгоняет ее из своего кабинета и когда оставляет в Лысых Горах, и позже, когда она умрет, я больше пожалею его, чем ее. Потому не жалко, что очень уж она довольна собой. Всегда, везде довольна собой. Он мучается, казнит себя, думает, ищет — у нее все решено, все ясно.

Так с первых глав «Войны и мира» я, читатель, заражаюсь отношением Толстого к его героям. Вместе с ним я презираю людей, которые не ищут, не мучаются, вместе с ним сочувствую тем, кого понимает и любит он.

«Война и мир» начинается для меня с того, как два человека нашли друг друга в толпе гостей Шерер и остались вдвоем в кабинете князя Андрея, и заговорили о своем...

3. Мсье Пьер

Он вошел в гостиную Анны Павловны Шерер, «*массивный, толстый* молодой человек с стриженою головой, в очках, светлых панталонах по тогдашней моде, с высоким жабо и в коричневом фраке». И снова: «Этот *толстый* молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова...» (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Толстой бесконечно подчеркивает: «Пьер был несколько больше других мужчин», «большие ноги», «неуклюж», «толстый, выше обыкновенного роста, широкий, с огромными красными руками...» В лице хозяйки дома при виде Пьера «изобразилось беспокойство и страх, подобный тому, который выражается при виде чего-нибудь слишком огромного и несвойственного месту».

Но вот что интересно: «этот страх мог относиться только к тому умному и вместе робкому, наблюдательному и естественному взгляду, отличавшему его от всех в этой гостиной».

Пьеру, воспитанному за границей и впервые попавшему на вечер, где, он знал, «собрана вся интеллигенция Петербурга»,— Пьеру не скучно: он ждет умных

разговоров, «у него, как у ребенка в игрушечной лавке», разбегаются глаза. Пьеру все внове.

Может быть, семь лет назад в той же гостиной двадцатилетний князь Андрей Болконский таким же робким, наблюдательным и естественным взглядом смотрел на гостей Шерер. Теперь он знает им цену. Ему двадцать семь, и один Пьер может вызвать дружеские и нежные ноты в его голосе.

«— Вот как!.. И ты в большом свете?» — спросил князь Андрей.

«— Я знал, что вы будете,— отвечал Пьер».

Конечно, он сказал правду — но не всю правду. Не только из-за князя Андрея Пьер приехал к Шерер. Ему интересно — вот что привлекает к нему Андрея и пугает Анну Павловну; ему интересны люди, их разговоры, он д у м а е т — не о том, о чем все посетители этой гостиной,— не о своей карьере. Ему интересно.

«— А обо мне что говорить?» — в тот же вечер скажет Пьер князю Андрею.— «Что я такое? Je suis un batard. Я незаконный сын!»

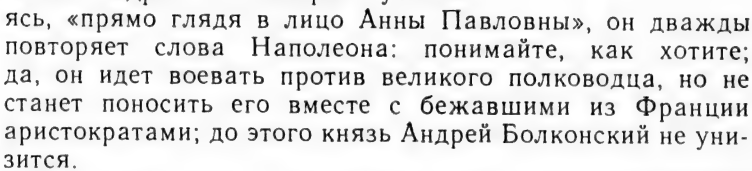
Унизительное и неопределенное положение в свете угнетает Пьера. Кто он: граф Безухов или просто мсье Пьер, даже без фамилии? «Анна Павловна приветствовала его поклоном, относящимся к людям самой низшей иерархии в ее салоне». Красавица Элен не замечает его, хотя живет с ним в одном доме,— Пьер поселился в Петербурге у князя Василия, родственника своего отца. И князь Василий отзывается о нем небрежно: «Образуйте мне этого медведя...»

Один Андрей не заботится о том, граф ли Безухов перед ним или кто другой. Один Андрей любит Пьера такого, какой он есть...

Поначалу эта дружба удивляет: они же такие разные! И семь лет разницы — много, когда одному из друзей двадцать. Эти семь лет отразились в том «вы», которое говорит Пьер Андрею, и в «ты» Андрея, странном в устах этого сдержанного человека. Где и когда они успели так близко познакомиться?

Скоро мы прочтем в письме сестры князя Андрея, что она знает Пьера с детства. Их отцы — старики Болконский и Безухов — екатерининские вельможи; нет ничего удивительного, что дети могли быть знакомы. Но теперь, когда они стали взрослыми, что объединяет их?

В гостиной Пьер все время ждет случая, чтобы в о-



рваться в разговор. Анна Павловна, «караулившая» его, несколько раз успевает его остановить — и все-таки Пьер прорывается: он объясняет бежавшим от революции и Наполеона французам-эмигрантам, что Наполеон — великий человек и революция — великое дело.

«— Нельзя, mon cher, везде все говорить, что только думаешь»,— заметит ему позже князь Андрей.

Сам он не станет так уж прямо высказывать свои мысли в салоне Шерер. Но и скрывать их князь Андрей не намерен: усмехаясь, «прямо глядя в лицо Анны Павловны», он дважды повторяет слова Наполеона: понимайте, как хотите; да, он идет воевать против великого полководца, но не станет поносить его вместе с бежавшими из Франции аристократами; до этого князь Андрей Болконский не унизится.

Разделяет ли он мысли Пьера о том, что «революция была великое дело»? Этого мы не знаем, но одно ясно: князь Андрей уж скорее с Пьером, чем с виконтами, аббатами и фрейлиной Шерер.

Оба они на перепутье, и это объединяет их. Все гости Шерер твердо знают, чего хотят, к чему стремятся. А Пьер не знает: вот уже три месяца он живет в Петербурге и выбирает себе карьеру: «Ну, что ж, ты решился, наконец, на что-нибудь? Кавалергард ты будешь или дипломат? — спросил князь Андрей...

— Можете себе представить, я все еще не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится».

Ведь и князю Андрею ни то, ни другое не нравится, потому он идет на войну, потому так раздражен и недоволен светом.

«Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств именно оттого, что князь Андрей в высшей степени соединял все те качества, которых не было у Пьера и которые ближе всего можно выразить понятием — силы воли». Но сам Андрей говорит о себе: «я конченый человек», он искренне убежден, что жизнь не удалась, мечется, ищет выхода...

А может быть, с этого и начинается человек — с недовольства собой, с поисков и мечтаний?

Я очень люблю Пьера — прекрасного, толстого, неуклюжего Пьера, с его очками и растерянным взглядом, с его сильными добрыми руками, с его приступами бешенства, с его ожиданием счастья и постоянными бедами, но больше всего я люблю в нем его постоянную борьбу с самим собой, и когда он терпит поражения в этой борьбе, они представляются мне залогом будущей победы.

«— Ты везде будешь хорош»,— говорит ему князь Андрей,— «но одно: перестань ты ездить к этим Курагиным, вести эту жизнь. Так это не идет тебе: все эти кутежи, и гусарство, и все...

— Знаете что! — скашал Пьер, как будто ему пришла неожиданно счастливая мысль,— серьезно, я давно это думал. С этою жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду.

— Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить?

— Честное слово!»

И вот он выходит белой петербургской ночью на улицу, чувствуя себя душевно очищенным после серьезного разговора с князем Андреем, и начинает сам с собой спорить, сам себя уговаривать. Это то, что мы все так отлично умеем, особенно в молодости,— доказывать себе: можно и даже нужно делать то, чего делать нельзя, но хочется.

«Хорошо бы было поехать к Курагину,— подумал он. *Но тотчас же* он вспомнил данное князю Андрею честное слово не бывать у Курагина.

Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему так страстно захотелось еще раз испытать эту столь знакомую ему беспутную жизнь, что он решился ехать. И *тотчас же* ему пришла в голову мысль, что данное слово ничего не значит, потому что еще прежде, чем князю Андрею, он дал также князю Анатолю слово быть у него; наконец, он подумал, что все эти честные слова — такие условные вещи, не имеющие никакого определенного смысла, особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же или он умрет, или случится с ним что-нибудь такое необыкновенное, что не будет уже ни честного, ни бесчестного... Он поехал к Курагину». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Трудно понять, как далось Толстому это немыслимо

полное, глубокое и точное понимание двадцатилетнего человека. Трижды повторенное: «Но тотчас же... Но тотчас же... И тотчас же...», «особенно ежели сообразить, что, может быть, завтра же он умрет...» Это назойливое «же»: «ежели, может, завтра же...» А за всем этим — Пьер с его ошибками, поисками... И снова, как про князя Андрея, думаешь: главное не в том, чтобы прожить жизнь не ошибаясь. Самое главное — судить и казнить себя, преодолевать себя снова и снова.

Сколько раз читаешь «Войну и мир», столько раз и видишь всех по-разному. Когда-то Наташа с куклой была мне ровесницей, а Наташа на бале — старше, и Пьер в первых главах был взрослый человек, его колебания казались странны, а князь Андрей вообще был далек, как звезда. Сейчас я вижу в Пьере ровесника своего сына — и потому прежде всего жалею, очень его жалею, и стараюсь понять, зачем ему так уж надо было к Курагину, и понимаю: очень же интересно, посадив квартального на медведя, пустить его вплавь по Фонтанке, и сержусь: вот бедолага, ведь мог вывалиться из окна вместе с этим безумцем Долоховым, и огорчаюсь: разве можно столько пить вина, зачем не сдержал слова,— и желаю ему добра, и предчувствую: долго еще добра не будет...

4. От поручика до императора

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
. . . .
Есть остров на том океане —
Пустынный и мрачный гранит;
На острове том есть могила.
А в ней император зарыт.
. . . .
И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.
. . . .
Из гроба тогда император
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук...

Это написано в 1840 году. Почти через двадцать лет после смерти Наполеона и почти через тридцать лет после разгрома его армии русский поэт Михаил Лермонтов видит Наполеона героем, страдальцем и сочувствует ему:

Несется он к Франции милой,
Где славу оставил и трон,
Оставил наследника-сына
И старую гвардию он...

Наполеон был сослан на остров Святой Елены в 1815 году и умер там 5 мая 1821 года. Но весь длинный девятнадцатый век он продолжал владеть умами и душами молодых людей всей Европы; мы знаем их из литературы: это француз Жюльен Сорель из «Красного и черного» Стендаля и русский помещик Онегин (в его кабинете стоял «столбик с куклою чугунной под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом»). И — гораздо позже — нищий студент Родион Раскольников, выстроивший на примере Наполеона свою жестокую философию («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского), и многие, многие люди, жившие на самом деле и созданные фантазией писателей, преклонялись перед Наполеоном, подражали ему, мечтали о подвигах, подобных тем, какие он совершил.

Нет ничего удивительного, что в 1805 году, в разгар возвышения и побед Наполеона, двадцатилетний Пьер бросается защищать его от людей, называющих Наполеона узурпатором, антихристом, выскочкой, убийцей и злодеем, а сдержанный князь Андрей Болконский все-таки тоже говорит в светском салоне о величии Наполеона.

Попробуем понять, что знали о Наполеоне гости Анны Павловны Шерер летом 1805 года; почему умный старый князь Болконский встретил сына восклицанием: «А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь?», а наивный граф Ростов сказал о сыне и его сверстниках: «Все Бонапарте всем голову вскружил; все думают, как это он из поручиков попал в императоры...» Чем этот человек вскружил все головы?

К 1789 году, к моменту французской революции, Наполеону Бонапарту было двадцать лет, и он служил поручиком в одном из французских полков.

Настоящая его фамилия итальянская — Буонапарте; так она произносилась на родине Наполеона, острове

Корсика. Позднее ее стали выговаривать на французский манер — Бонапарт, пока не заменили именем: император Наполеон.

Первую свою победу Наполеон одержал в 1793 году в битве при Тулоне. В этом портовом городе на Средиземном море произошло контрреволюционное восстание, поддержанное английским флотом. Революционная армия осадила Тулон с суши, но взять его долго не могла, пока не появился никому не известный капитан Бонапарт. Он изложил свой план взятия города и выполнил его. Тулон был взят, английский флот отогнан в море.

Может быть, главная победа Наполеона состояла в том, что он убедил начальников осаждающей армии довериться ему. Но как бы то ни было, победа при Тулоне сделала двадцатичетырехлетнего Бонапарта генералом, и сотни юношей стали мечтать о своем Тулоне — том часе, когда они покажут, на что способны.

Судьба вовсе не так уж благоволила к Наполеону: до Тулона он восемь лет прослужил в армии безвестным подпоручиком, потом поручиком, капитаном; едва вознесшись до генерала, он оказался в опале: был казнен покровительствовавший ему брат Робеспьера, и генерал Бонапарт два года слонялся по Парижу без дела и полуголодный, как некогда поручик Бонапарт.

Но в 1795 году, когда произошло восстание реакционных сил против Конвента, о генерале Бонапарте случайно вспомнили. Он был вызван — угрюмый худощавый молодой человек — и с полной бестрепетностью расстрелял из пушек огромную толпу посреди города. Восстание было подавлено. (Эту-то жестокость Наполеона вспоминает в гостиной Шерер бежавший из Франции в Россию виконт Мортемар.)



Теперь генерал Бонапарт уже не был забыт. В 1796 году он возглавил французскую армию, действовав-

шую в Италии, прошел со своими войсками по самой опасной дороге через Альпы и за шесть дней разбил итальянскую армию, а после этого разгромил отборные войска австрийцев во главе с лучшими генералами.

В конце 1796 года произошел бой при Арколе. Французы трижды пытались взять Аркольский мост, но не могли. Тогда главнокомандующий Бонапарт сам бросился на мост со знаменем в руках. За ним ринулись остальные. Мост был взят.

Кстати сказать, то же самое Наполеон сделал на полгода раньше, при взятии моста в Лоди, но почему-то запомнился, вошел в историю именно Аркольский мост и маленькая сухая фигурка со знаменем в руках.

В 1797 году, вернувшись из Италии в Париж, генерал Бонапарт был встречен несметными толпами: он уже был героем для всей Франции, его боялась вся Европа, и единственный полководец, которого опасался он, великий Суворов, сказал о нем: «Далеко шагает. Пора унять молодца».

Суворову оставалось жить всего три года, и он еще успел в отсутствие Наполеона отнять у Франции все, что было завоевано Наполеоном в Италии, но встретиться на поле боя им уже не было суждено. Наполеон же тем временем добился главной из своих побед: над собственной армией. Его обожали солдаты.

После итальянского похода он отправился в Египет и Сирию, чтобы бороться с главными врагами Франции — англичанами — на территории их колоний. Здесь, в труднейшей войне, он был невероятно жесток (например, взяв в плен четыре тысячи турецких солдат, Наполеон решился, правда, после трехдневных колебаний, расстрелять всех: у него не было ни пищи для пленников, ни конвоя для них) Но французские солдаты и офицеры только что не молились на него. Когда французскую армию преследовала чума, Наполеон не побоялся навестить своих солдат в чумном госпитале в Яффе, обошел больных, протягивал им руку. Когда раненых и больных стало очень много, он велел всем идти пешком, а лошадей отдать больным. Для него оставили лошадь, но Наполеон, взмахнув хлыстом, закричал: «Всем идти пешком! Я первый пойду! Что, вы не знаете приказа? Вон!»

Пока Наполеон воевал в Египте и Сирии, дела во Франции шли неважно. Директория, правившая страной, не умела удержать победы Наполеона. Суворов прогнал

французов из Италии, народ голодал, буржуазия мечтала о твердой власти,— генерал Бонапарт вернулся из Египта в самое подходящее время, чтобы взять власть в свои руки.



Франция встретила его восторженно. И все-таки было не так-то просто задушить завоевания французской революции, уничтожить созданные ею законодательные собрания и стать диктатором. Входя в зал Совета пятисот, который он собирался распустить, Наполеон сказал сопровождавшему его генералу: «Помнишь Арколе?» — может быть, ему легче было бежать со знаменем на мост, чем идти на штурм Совета пятисот.

Наполеон победил и здесь. 18—19 брюмера (9—10 ноября) 1799 года он стал властителем Франции. Пять лет он называл себя первым консулом, а в 1804 году стал императором; для коронации в Париж был вызван римский папа Пий VII, давно запуганный Наполеоном,— это было нужно императору, чтобы весь католический мир признал его, но, выхватив корону из рук первосвященника, он надел ее на себя сам: таков был символический акт — ничьи руки не могли дать ему корону, кроме его собственных.

Незадолго до коронации он совершил еще одну жестокость: казнил герцога Энгиенского, принадлежавшего к французскому королевскому роду Бурбонов. Эту-то казнь и припоминают ему в салоне Шерер: «После убийства герцога даже самые пристрастные люди перестали видеть в нем героя»,— сказал виконт Мортемар, а Пьер «ворвался в разговор, и Анна Павловна... уже не могла остановить его.

«— Казнь герцога Энгиенского,— сказал Пьер,— была государственная необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся принять на себя одного ответственность в этом поступке».

Здесь, в этом салоне, о Бонапарте помнят все:

«— А пленные в Африке, которых он убил? — сказала маленькая княгиня.— Это ужасно!

— Нельзя не сознаться,— продолжал князь Андрей,— Наполеон как человек велик на Аркольском мосту, в госпитале в Яффе, где он чумным подает руку, но... но есть другие поступки, которые трудно оправдать».

Вот так говорит о Наполеоне, обсуждает и судит Наполеона вся Европа.

Его имя гремит повсюду, а сам он — человек, выдвинутый революцией и уничтоживший ее завоевания,— готовится тем временем к новой войне с главным своим врагом — Англией.

В Англии тоже готовятся: во главе английского правительства стал Вильям Питт — он пытался подослать к Наполеону убийц, но это не удалось. Тогда он повел переговоры с Россией и Австрией, согласился финансировать их войну с Наполеоном, только бы не дать ему возможности выступить против Англии.

Питту удалось предотвратить высадку французских войск в Англии — русские и австрийские войска, объединившись, двинулись на запад; Наполеону оставалось только идти к ним навстречу.

На эту-то войну с Наполеоном спешит князь Андрей, туда же уходит Николай Ростов и Борис Друбецкой; об этой предстоящей войне говорят в салоне Шерер: «Нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции, которая теперь еще ужаснее в лице этого убийцы и злодея...»

Для фрейлины Шерер Наполеон — воплощение французской революции и уже потому злодей. Юный, восторженный Пьер не понимает, что, став императором, Наполеон предал дело революции; Пьер защищает и революцию, и Наполеона в равной мере; более трезвый и опытный князь Андрей видит и жестокость Наполеона, и его деспотизм, а отец Андрея, старик Болконский, страдает от того, что нет Суворова, который показал бы этому новоявленному гению, что значит воевать.

Но все они думают о Наполеоне, заняты им — каждый по-своему...

И в жизни каждого из них занимает немалое место зловещая и величественная фигура маленького человека в сером сюртуке и треуголке.

5. *Два юноши*

Прошло два месяца после вечера у Шерер. Уже конец лета —26 августа по русскому календарю, 8 сентября — по европейскому (по которому и мы живем сегодня). Через семь лет этот день войдет в историю России как день Бородина. А пока он ничем не знаменит; как на всякий день в году, на него выпадают чьи-то именины.

Толстой переносит нас в Москву, в дом Ростовых. Здесь две именинницы Натальи — мать и дочь. У Ростовых с утра гости, визиты, подготовка к званому обеду. А в другом московском доме умирает отец Пьера граф Безухов...

Пьер, высланный из Петербурга за историю с медведем, одиноко сидит в доме умирающего отца, к которому его не пускают. Теперь о Пьере говорит вся Москва: всех заботит наследство старого графа. «По жене прямой наследник всего именья князь Василий, но Пьера отец очень любил, занимался его воспитанием и писал государю... так что никто не знает... кому достанется это огромное состояние, Пьеру или князю Василию. Сорок тысяч душ и миллионы». Так рассуждает Анна Михайловна Друбецкая — уж она-то знает, недаром так настойчиво напоминает, что старик Безухов ей троюродный дядя, что он крестил Бориса,— Анна Михайловна своего не упустит, хотя бы сам князь Василий стал на ее пути.

А Пьер сидит на верхнем этаже громадного безуховского дома,— понимает ли он, что сейчас решается его судьба: остаться ему незаконным сыном без всякого состояния или стать графом и миллионером. О чем он думает, чем занят?

«...Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой...»

Он воображает себя Наполеоном, он сражается с англичанами и побеждает. В этом доме, где все: князь Василий, три княжны — племянницы старого Безухова и примчавшаяся на наживу Анна Михайловна Друбецкая — все думают об одном: как урвать себе побольше из наследства еще не умершего старика; в этом доме один Пьер думает о другом; он не умеет жить, сказали бы о нем в свете. Он не умеет жить — это правда. Но он учится — и хочет он жить иначе, чем князь Василий.

Почему он не думает о своем умирающем отце? Оправдать Пьера нетрудно: он мало знал отца, жил в разлуке с ним: последние годы провел за границей, куда его послали учиться. Все это так, но есть и другая правда — юношеский эгоизм Пьера. Он слишком погружен в себя, в мысли о своем будущем, чтобы думать о страданиях отца. Пьера занимает один главный вопрос: как жить?

В решении этого вопроса немалую роль играет блистательный пример Наполеона — воображая себя на его месте, Пьер, нахмурившись, произносит: «Англии конец»,— в эту-то минуту в его комнату входит Борис Друбецкой, «высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица».

Мы только что видели Бориса у Ростовых. Он не растерялся, когда вся молодежь ростовского дома под водительством Наташи нечаянно залетела в гостиную, где сидит скучная гостья со скучной дочерью,— через семь лет Борис женится на скучной дочери, но сегодня он об этом и не подозревает. Борис не растерялся, случайно попав в гостиную, и спокойно рассказал шутливую историю о Наташиной кукле. Потом он вышел вслед за Наташей из гостиной, и шаги его были «не тихие, не быстрые, приличные шаги» — так никто не ходит в этом доме: ни Наташа, ни Петя, ни Николай, ни даже Соня, только Борис.

Когда Наташа, встав на кадку с цветами, поцеловала его, Борис повел себя как идеально воспитанный, приличный молодой человек:

«— Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас... еще четыре года... Тогда я буду просить вашей руки».

Он прав — нехорошо молодому офицеру целоваться с тринадцатилетней девочкой. Но все-таки он неприятен в этом своем непробиваемом благоразумии.

Я не собиралась сейчас писать о Наташе, и не нужно мне сейчас о ней говорить, но не могу удержаться.

«— Навсегда? — сказала девочка. — До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную».

Вот так она входит в нашу жизнь, Наташа Ростова, под руку с Борисом — навсегда! До самой смерти! — а впереди столько горя, и счастье, и Андрей, и война, и Анатоль — ужасно, но будет Анатоль,— и ночь в Мытищах, и Пьер, и дети... Все, все в ее жизни будет не так,

как представляется в тринадцать лет, но «жалок тот, кто все предвидит»,— и отвратительным кажется Борис, который уже в юности слишком хорошо знает цену благоразумию.

Может быть, самое неприятное в Борисе — то, что он отлично понимает, зачем его маменька хочет ехать к графу Безухову, и, понимая, поторапливает ее: еще в гостиной, до объяснения с Наташей, он напомнил:

«Вы, кажется... хотели ехать, maman? Карета нужна?»

О нет, он не таков, как его мать Анна Михайловна. Он умнее. Та в простоте, в слепом материнском инстинкте, готова «хоть два, хоть три раза, хоть четыре» мчаться на извозчике к «тузам», к министрам, просить, унижаться, обманывать... Он не таков. Даже князь Василий «пристально поглядел на него», услышав, как Борис, «не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но... спокойно и почтительно» отвечал ему. Кто знает, о чем подумал князь Василий в эту минуту? Может быть, чутье опытного светского человека подсказало ему, что Борис Друбецкой далеко пойдет?

Когда, как он всему этому научился? В доме Ростовых, где «с детства воспитывался и годами живал»? Да, как ни странно, именно в доме Ростовых. Борис вызывает у меня отвращение, но это не значит, что в его жизни все просто и понятно. Наоборот, очень непросто.

Богатые Ростовы взяли на воспитание племянницу Соню. Кроме того, у них постоянно живет Борис, сын бедной родственницы. Доброта старых Ростовых скрашивает унизительность положения Бориса и Сони, а молодые просто любят их, поэтому Соня долгие годы не задумывается над тем, что она «облагодетельствованная»; когда же поняла это, она пожертвовала для благополучия дома Ростовых своим счастьем. Борис, вероятно, с детства чувствовал горечь от того, что он и мать бедны, вынуждены жить на чужой счет. Еще мальчиком он готовил себя к тому, чтобы добиться, выбиться, прорваться к деньгам и карьере. Его не унижали, но он чувствовал себя униженным. В трудном положении ему оставалось одно: сохранять спокойствие и выдержку, терпеть унизительные хлопоты матери и мечтать о том часе, когда он будет покровительственно смотреть на тех, кто сейчас ему покровительствует. Он горд по-своему, но его гордость порождена самолюбием и эгоизмом.

Вот он поднимается по лестнице в комнату Пьера. Этот первый разговор между ними сыграет очень важную роль в жизни Бориса, поможет ему выдвинуться; первыми шагами своей карьеры, он, в конечном итоге, будет обязан Пьеру и этой первой встрече,— думает он сейчас обо всем этом, рассчитывает свое поведение? Вероятно, нет. Кто такой Пьер, чтобы специально обдумывать свое с ним поведение! Борис естествен, искренен — и это самое удивительное.

Вы помните, чем был занят Пьер? «Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном.. как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся».

Таков Пьер. Конечно, он все перепутал: услышав о графе Ростове, радостно «вспомнил» Бориса: «Так вы его сын, Илья...» Мы уже знаем, что Ильей зовут отца Ростова, а сына — Николаем.

Пьер смущен — сначала оттого, что не может вспомнить молодого человека, затем от путаницы. Он «замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него».

Борис не испытывает ни малейшего смущения, не торопится назвать себя, говорит спокойно, смело и несколько насмешливо — Пьер ведь не князь Василий, здесь не нужна почтительность.

В удивительном разговоре, который сейчас произойдет, весь характер Пьера — ему неловко за Бориса, он боится «за своего собеседника, как бы он не сказал чего-нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться». Но Борис идет напролом. Он говорит «отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру:

— ...Москва занята сплетнями больше всего... Теперь говорят про вас и про графа.

— ...Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние...

— ...А вам должно казаться... что все заняты только тем, чтобы получить что-нибудь от богача.

«Так и есть»,— подумал Пьер.

— А я именно хочу сказать вам... что вы очень ошибаетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих

людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него».

Бедный Пьер! Он «долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана... и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады:

— Вот это странно! Я разве... да и кто ж мог думать... Я очень знаю...»

З а ч е м Борис говорит все это? Разве он не знает, что в это самое время его мать там, внизу, унижениями и дотошностью вотрется в дом старого графа, оттеснит князя Василия и любыми средствами достигнет своей цели: урвать что-нибудь для Бориса. Знает. Но не надо думать, что он лжет Пьеру. Он хочет, чтобы было так, как он говорит, и в эту минуту даже верит, что так оно и есть. Его гордость, его самолюбие наконец-то удовлетворены: он сказал те слова, которые хотел бы произнести при матери, при князе Василии, при Ростовых,— но там нельзя, он достаточно благоразумен, чтобы понимать это, а здесь можно и нужно. И в то же время он понимает, что только этим гордым и независимым заявлением можно завоевать расположение Пьера, а Пьер, как ни говори, вдруг еще будет графом Безуховым...

Так оно и вышло: много позже, уже в 3-й части I тома, мы узнаем, что «Борис во время похода сделал много знакомств с людьми, которые могли быть ему полезными, и *через рекомендательное письмо, привезенное им от Пьера, познакомился с князем Андреем Болконским, через которого он надеялся получить место в штабе главнокомандующего*». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

И получит! Он все получит, что захочет, он и князю Андрею сумеет полюбиться. Накануне Аустерлица он приедет в штаб Кутузова и вот что там произойдет:

«Борис в эту минуту уже ясно понял... что в армии, кроме той субординации и дисциплины, которая была написана в уставе.. была другая, более существенная субординация, та, которая заставляла этого затянутого с багровым лицом генерала почтительно дожидаться, в то время как капитан князь Андрей для своего удовольствия находил более удобным разговаривать с прапорщиком Друбецким. Больше чем когда-нибудь Борис решился служить впредь не по той писанной в уставе, а по этой

неписаной субординации. *Он теперь чувствовал, что только вследствие того, что он был рекомендован князю Андрею, он уже стал сразу выше генерала...»* (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Вот каков был результат разговора Бориса с Пьером в отдаленной комнате громадного дома графа Безухова. То, чего не могла добиться унижениями и настойчивостью Анна Михайловна Друбецкая, было достигнуто ее сыном легко, без труда, без унижений — наоборот, он даже удовлетворил свою гордость. Очень спокойный и очень благоразумный молодой человек, хорошо знающий, где что сказать,— таким он пройдет через весь роман: таким подслушает разговор царя о переходе Наполеона через Неман и первым узнает о начале войны, и сумеет извлечь из этого выгоду; таким сунется под руку к Кутузову перед Бородиным — с уместным восхищением ополченцами, которые приготовились к смерти и потому надели белые рубахи; таким он будет в гостиной Жюли Карагиной: преодолевая отвращение, он скажет ей все любовные слова, каких она захочет, потому что ее миллионы, леса и поместья дороже слов; и в будуаре Элен он будет таким же — Элен, со своими связями, продвинет его карьеру,— и только один человек на белом свете вырвет его на время из благоразумия и спокойствия — это Наташа; но и Наташу он отодвинет в сторону — не жениться же на бесприданнице, ведь Ростовы к тому времени разорятся...

Что же, Борис — плохой человек? В том-то и дело, что ни разу он не совершит ничего непорядочного в прямом смысле слова. И тем не менее здесь, в верхнем этаже старого дома графов Безуховых, сошлись сейчас два юноши, воплощающие два мира: честный и бесчестный.

Перед каждым из юношей — длинная жизнь, полная событий, и не раз их пути перекрестятся. Путь Пьера будет полон ошибок, заблуждений и разочарований, но всегда Пьер будет искать истину, добро и справедливость. Борису все это не нужно — он будет искать карьеры, положения, денег, и все это он найдет.

Но ведь это он же был, он — тот, с кем тоненькая девочка с счастливым лицом пошла в диванную! Только это он потеряет: простое, естественное счастье, способность любить и быть любимым; останутся у него чины, поместья, ордена, а человека не будет.

6. Две девушки

Старый граф Безухов умер. Князь Василий не успел уничтожить его завещание в пользу Пьера и взять все наследство Безухова себе.

Пьер ничего не понял в истории с завещанием — он думал о другом. В этом состоянии непонимания Толстой оставляет его и переносит нас в дом другого екатерининского вельможи, последнего, оставшегося в живых,— генерал-аншефа князя Николая Андреевича Болконского.

О судьбе Пьера мы узнаем в этом доме — из письма, написанного Жюли Карагиной, той самой гостьей-барышней, что приезжала к Ростовым в день именин. Жюли горюет, провожая на войну своих братьев, и пишет об этом подруге — княжне Марье Болконской, а старый князь Николай Андреевич, вручая дочери письмо, предупреждает:

«— Еще два письма пропущу, а третье прочту... боюсь, много вздору пишете. Третье прочту».

И письмо Жюли, и ответ княжны Марьи написаны по-французски, поэтому, не углубляясь в перевод, мы как-то проскальзываем мимо, а жаль — так ясно видны в этих письмах обе девушки: искренне неискренняя Жюли, каждое слово которой как будто продиктовано Анной Павловной Шерер и проверено княгиней Друбецкой, и чистая, умная, естественная в каждом слове княжна Марья.

«Милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь разлука! Сколько ни твержу себе, что половина моего существования и моего счастия в вас, что... сердца наши соединены неразрывными узами... я не могу подавить некоторую скрытую грусть, которую испытываю в глубине сердца со времени нашей разлуки. Отчего мы не вместе, как в прошлое лето, в вашем большом кабинете, на голубом диване, на диване «признаний»?»

Так начинает свое письмо Жюли — и невольно вспоминаются слова старого князя: «боюсь, много вздору пишете...» Мы ведь видели Жюли, видели ее кокетство, ее улыбки, и никакой грусти в ней не было заметно...

Княжна Марья принимает каждое слово подруги всерьез, за чистую монету, но в ответе ее — при том, что он написан почти теми же словами, что письмо Жюли,— в ответе ее виден совсем другой человек.

Прежде всего, она утешает. Утешает бедняжку Жюли, жестоко страдающую в разлуке с ней: «Вы жалуетесь на разлуку, что же я должна была бы сказать, если бы смела,— я, лишенная всех тех, кто мне дорог? Ах если бы не было у нас утешения религии, жизнь была бы очень печальна...»

В ее письме все — правда. Некрасивая (Толстой много раз подчеркивает: некрасивая, даже жалкая!) одинокая девушка заперта в деревне с глупой француженкой и деспотичным, хотя и любящим отцом,— но она жалеет и утешает Жюли; она выстроила свой душевный замок, строгий и чистый; ее религия — не пустые речи Анны Павловны Шерер о боге, который поможет праведнику Александру I победить злодея Наполеона; ее религия вызывает уважение, потому что бог княжны Марьи — это прежде всего справедливость, ее вера — это прежде всего требовательность к себе; всем другим она прощает слабости, а себе — никогда.

В письме Жюли есть два сообщения, очень важные для обеих подруг: одно — о предполагаемом сватовстве Анатоля Курагина к княжне Марье, и другое — длинное, туманное и нежное — о «молодом Николае Ростове», ибо, по мнению Жюли, между нею и Николаем были отношения, служившие «одною из самых сладостных отрад» ее «бедного сердца, которое уже так много страдало».

И ведь сама верит, бедняжка, тому, что пишет! Николай, польщенный вниманием Жюли и не менее польщенный ревностью Сони, действительно улыбался в ответ на призывные улыбки Жюли, а она вырастила в своем воображении «столь поэтические и столь чистые отношения...» Не торопитесь осуждать ее — нет такой девушки, которая не строила бы воздушных замков на такой же шаткой основе; ничего в этом нет худого — таково свойство молодости.

И княжна Марья не осуждает Жюли: «Почему приписываете вы мне строгий взгляд, когда говорите о вашей склонности к молодому человеку? В этом отношении я строга только к себе...»

Все девушки, читающие «Войну и мир», всегда влюблены в Наташу, всем хочется быть, как она, все льстят себя надеждой, что хоть частица Наташи есть в них,— и это правда, конечно, есть; в каждой молодой, жаждущей жизни, любви и счастья девушке живет Наташа Ростова. Никто не хочет быть, как княжна Марья, с ее некраси-



востью и тяжелой поступью, с ее добротой и смирением, с ее жалостью к людям. Но в каждой девушке есть, непременно должна быть и княжна Марья, без этого она превратится в Элен. Княжна Марья, с ее неуверенностью в себе, с ее тайным убеждением, что любовь придет к кому угодно, только не к ней, с глубоко скрытой мечтой о любви, о НЕМ...

Она пишет, что брак есть «божественное установление, которому нужно подчиняться»,— она так думает, но в глубине души мечтает не о божественном установлении, а о земной любви, семье, ребенке — и откуда ей знать

сейчас, что Николай Ростов, чей уход в армию сегодня оплакивает Жюли, станет отцом ее детей, ее любимым

Вот странно: письма девушек очень похожи одно на другое. Казалось бы, тот же возвышенный язык, те же поэтические фразы. Но в письме Жюли — болтовня, легкомыслие, сплетня; в письме княжны Марьи — никакой суетности: душевная чистота, спокойствие и ум. Даже о войне, в которой обе ничего не понимают (только княжна Марья признается в этом, а Жюли — нет),— даже о войне Жюли пишет не своими словами, а теми, какими говорят в гостиных: «Дай бог, чтобы корсиканское чудовище, которое возмущает спокойствие Европы, было низвергнуто ангелом, которого всемогущий... поставил над нами повелителем...» Княжна Марья со всей своей верой не вспоминает ни чудовищ, ни ангелов; она знает, что здесь, в деревне, «отголоски войны слышны и дают себя тяжело чувствовать». Она видела рекрутский набор и потрясена горем матерей, жен и детей; она свое думает: «человечество забыло законы своего божественного спасителя, учившего нас любви и прощению обид... оно полагает главное достоинство свое в искусстве убивать друг друга».

Она умна, княжна Марья. И, кроме того, она дочь своего отца и сестра своего брата. Княжна Марья ошибается в Жюли, как Пьер ошибся в Борисе, и еще раньше — Андрей в своей жене, и позже — Наташа в Анатоле... Она молода и неопытна, слишком верит людям и не замечает внутренней фальши красивых слов Жюли, но чувство собственного достоинства не позволит ей схитрить, умолчать, не вступиться за человека, которого она уважает.

Жюли пишет о Пьере: «Главная новость, занимающая всю Москву,— смерть старого графа Безухова и его наследство. Представьте себе, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер — наследник всего и, сверх того, признан законным сыном и потому графом Безуховым... я забавляюсь наблюдениями над переменой тона маменек, у которых есть дочери-невесты, и самых барышень в отношении к этому господину, который (в скобках будь сказано) всегда казался мне очень ничтожным».

Княжна Марья отвечает: «Я не могу разделять вашего мнения о Пьере, которого знала еще ребенком. Мне казалось, что у него было всегда прекрасное сердце, а это то качество, которое я более всего ценю в людях. Что каса-

ется до его наследства и до роли, которую играл в этом князь Василий, то это очень печально для обоих... Я жалею князя Василия и еще более Пьера. Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием,— через сколько искушений надо будет пройти ему!»

Может быть, даже князь Андрей, умный и взрослый друг Пьера, не понял так отчетливо и с такой болью, какую опасность таит в себе обрушившееся на Пьера богатство,— это поняла одинокая, запертая в деревне княжна Марья, потому что ее отец и брат, ее одиночество и, может быть, тягостные уроки математики научили ее думать, а думает она не только о себе.

Так что же общего между нею и Жюли? Конечно, ничего, кроме детских воспоминаний и разлуки, еще подогревающей прежнюю дружбу. По-разному сложатся судьбы подруг, но уже сейчас нам ясно то, чего обе они не понимают: эти две девушки — чужие друг другу, потому что Жюли, как все в свете, как маленькая княгиня Болконская, довольна собой. Княжна Марья умеет судить себя, сдерживать и ломать себя иногда, в себе искать причины своих неудач — ее сердце готово ко всем чувствам, какие дано испытать человеку,— и она испытает их, в отличие от Жюли.

7. Отец и сын

Старик Болконский невыносим. Он отравляет жизнь княжны Марьи нелепыми уроками математики. Он унижает дочь в присутствии посторонних — даже не просто посторонних, а человека, который приехал к ней свататься: «Ты при гостях причесана по-новому, а я при гостях тебе говорю, что вперед не смей ты переодеваться без моего спроса», «...уродовать себя нечего — и так дурна». Он замахивается палкой на своего управляющего Алпатыча за то, что он велел расчистить дорогу для едущих к князю гостей. И все это еще цветочки, ягодки — впереди: он разрушит счастье князя Андрея и Наташи, назначив бессмысленный срок — год — до их свадьбы и оскорбив Наташу грубым, почти издевательским приемом. После этого он совсем уж заест княжну Марью, отдалив ее от себя и приблизив к себе ничтожную мамзель Бурьен. И даже робкая, преданная, обожающая

отца княжна Марья минутами будет, стыдясь и страшась самой себя, ждать его смерти — так он невыносим. Это будет позже, в 1812 году, но и сейчас, в 1805 году, он тяжел, характер его труден.

И все-таки мы почему-то любим старого князя. Я замечала: все дочери, у которых хорошие отцы, видят в Николае Андреевиче Болконском что-то от своих отцов.

Да, он крутенек, старый князь, и сын его знает, что отец тяжел, но если бы он, князь Андрей Николаевич Болконский, дожил до старости, не сомневайтесь: стал бы таким же деятельным, мудрым и нетерпимым, и деспотическим стариком, как его отец.

Старый князь Болконский напоминает лучших людей своей эпохи: Суворова, о котором мы знаем из истории, и Стародума, с которым познакомились в пьесе Фонвизина «Недоросль»; может быть, и умерший недавно отец Пьера граф Безухов был чем-то похож на этого трудного старика.

Как складывался его характер?

Екатерина II имела один бесспорный талант: находить и приближать к себе ярких, умных, одаренных людей. Николай Болконский был среди них, а сын Екатерины, будущий император Павел, не был. Мать не любила и боялась сына, сын не любил матери и боялся ее.

В короткое царствование Павла любимцам Екатерины стало худо: лучшая судьба была — оказаться сосланным к себе в деревню; блестящие вельможи, привыкшие повелевать при дворе, так и не могли возродиться к полной жизни, когда, после смерти Павла, его сын Александр I вернул их из ссылки.

Князь Николай Болконский был горд и не поехал из деревни на зов нового царя. В Лысых Горах он жил при Александре так же безвыездно, как при Павле, но жил, а не доживал свой век.

«Он говорил, что есть только два источника людских пороков: праздность и суеверие, и что есть только две добродетели: деятельность и ум... Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности... ни приезд сына и никакие необыкновенные события не должны были нарушать порядка дня».

«Несмотря на то, что он был в отставке и не имел теперь никакого значения в государственных делах, каждый начальник той губернии, где было имение князя,

считал своим долгом являться к нему и точно так же, как архитектор, садовник или княжна Марья, дожидался назначенного часа выхода князя в высокой официантской. И каждый в этой официантской испытывал то же чувство почтительности и даже страха, в то время как отворялась громадно-высокая дверь кабинета и показывалась в напудренном парике невысокая фигурка старика...»

Сын и дочь по-разному относятся к причудам отца. Княжна Марья никогда — даже себе — не признается в том, что ей может быть трудно и тяжело от деспотизма старика. «Я не позволю себе судить его и не желала бы, чтоб и другие это делали»,— резко говорит она в ответ на сообщение мамзель Бурьен, что князь не в духе. «Ах, он так добр!» — отвечает на признание маленькой княгини, что она боится старика. «Мне?.. Мне?! Мне тяжело?!» — испуганно и удивленно восклицает в разговоре с братом.— «Ты всем хорош, André, но у тебя есть какая-то гордость мысли... Разве возможно судить об отце? Да ежели бы и возможно было, какое другое чувство, кроме vénération (обожания), может возбудить такой человек?..»

Сын позволяет себе судить отца.

«— И те же часы и по аллеям прогулки? Станок? — спрашивал князь Андрей с чуть заметною улыбкой, показывавшею, что, несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он понимал его слабости.

— Те же часы и станок, еще математика и мои уроки геометрии,— радостно отвечала княжна Марья, как будто ее уроки из геометрии были одним из самых радостных впечатлений ее жизни».

Увидев в столовой «огромную, новую для него, золотую раму с изображением генеалогического дерева князей Болконских», князь Андрей покачал головой.

«— Как я узнаю его всего тут! — сказал он княжне Марье...— у каждого своя ахиллесова пятка... С *его* огромным умом donner dans ce ridicule!» (поддаваться этой мелочности). (Курсив Толстого.)

За что же можно любить этого странного, страшного и, может быть, немного смешного старика?

Вскользь, между прочим, Толстой заметит в следующей части, повествующей о войне: «князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день». Мы сможем оценить это вскользь сделан-

ное замечание, когда узнаем, какой праздник был у Ростовых в день получения единственного письма от обожаемого Николеньки, а ведь Ростовы любят друг друга; но у них все иначе: Николай любит семейное тепло, оставшееся в ином, светлом и спокойном мире. Для князя Андрея нет двух миров: его и отца — отец всегда с ним, отцу важна каждая мысль сына, каждый его поступок, и сын, понимая слабости отца, не умеет обходиться без дружбы с ним. Вот какие у них отношения:

«— А! Воин! Бонапарта завоевать хочешь? — сказал старик и тряхнул напудренною головой...

— ...Нездоровы, брат, бывают только дураки да развратники, а ты меня знаешь: с утра до вечера занят, воздержан, ну и здоров.

— Слава богу,— сказал сын, улыбаясь.

— Бог тут ни при чем. Ну, рассказывай...»

В каждом его слове — весь характер: сильный, деятельный, прямой. «Ну, рассказывай!» И сын, «видя настоятельность требования отца, сначала неохотно, но потом все более и более оживляясь... начал излагать операционный план предполагаемой кампании».

«— Ну, новенького ты мне ничего не сказал»,— заключил отец, и это была правда: князь Андрей только удивлялся, «как мог этот старый человек, сидя столько лет один безвыездно в деревне, в таких подробностях и с такою тонкостью знать и обсуживать все военные и политические обстоятельства Европы последних годов».



Непонимание и отчуждение между родителями и детьми возникает ведь не на пустом месте; оно, к сожалению, бывает закономерно: уставшие за долгую свою жизнь родители перестают интересоваться сегодняшним днем, не понимают интересов детей и сами углубляют возникающую

пропасть, расхваливая «свое» время и осуждая непонятное им новое.

Старый князь Болконский — сын своего века, он никогда не забывает своего звания генерал-аншефа и заставляет губернаторов дожидаться у себя в официантской, но и веяния нового века не проходят мимо него: «Князь, твердо державшийся в жизни различия состояний и редко допускавший к столу даже важных губернских чиновников, вдруг на архитекторе Михайле Ивановиче... доказывал, что все люди равны, и не раз внушал своей дочери, что Михайла Иванович ничем не хуже нас с тобой».

Он весь состоит из противоречий, этот старый князь, но главное в нем — он живой; рядом с ним и князь Василий, и все гости Шерер духовные мертвецы. Немудрено, что князь Андрей вошел к отцу не с тем выражением, которое «он напускал на себя в гостиных, а с тем оживленным лицом, которое у него было, когда он разговаривал с Пьером».

Увидев князя Андрея, входящего в гостиную Шерер, я каждый раз стараюсь удержаться от одной назойливой аналогии — и не могу: он напоминает мне Печорина. Это антиисторично — Печорины придут через четверть века, совсем в другую эпоху. Но, тем не менее, я радостно удивилась, когда увидела, что о старом князе Болконском Толстой пишет: «Он засмеялся сухо, холодно, неприятно... одним ртом, а не глазами». Помните о Печорине: «глаза его не смеялись, когда он смеялся...» Конечно, это совсем разные люди: Болконские — оба! — прежде всего деятельны, Печорин прежде всего обречен на бездействие. Но и в Болконских живет страдание от невозможности применить в с е свои силы: отсюда неприятный смех старого князя, отсюда и многие страдания Андрея.

Мы еще не раз увидим, как они похожи, отец и сын. Отец все понимает, но не в его правилах обнаруживать свои чувства. Сдержанность отца воспитана и в сыне: в день отъезда, оставшись один, он был грустен, лицо его «было очень задумчиво и нежно». Но, услышав шаги сестры, он «принял свое всегдашнее спокойное и непроницаемое выражение».

Странно слышать, как княжна Марья называет его «Андрюша». Ей и самой «было странно подумать, что этот строгий красивый мужчина был тот самый Андрюша, худой шаловливый мальчик, товарищ детства».

Но ведь было же детство — и как для княгини Лизы

или Элен оно было школой фальши, для Анатоля — школой безделья, а для Бориса — временем честолюбивых эгоистических мечтаний, так для Андрея, и Марьи, и для Льва Николаевича Толстого детство — это пора того света, тепла и чистоты, которые человек обязан пронести через жизнь, не показывая чужим людям, но бережно сохраняя для родных по духу. Детство князя Андрея ожило в нем, когда он лежал на поле Аустерлица под высоким небом, и когда он полюбил Наташу, и когда звал ее в избе под Мытищами, простив все горе, какое она ему принесла...

И теперь, прощаясь с сестрой, он хранит в душе свое детство, не показывая этого. Но его благородство, чистота и нежность — оттуда.

Княжна Марья робко говорит брату:

«— У меня к тебе есть большая просьба.

— Что, мой друг?

— Нет, обещай мне, что ты не откажешь...»

Княжна Марья хочет благословить брата образом: «Его еще отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах... обещай мне, что никогда его не будешь снимать. Обещаешь?

— Ежели он не в два пуда и шеи не оттянет... Чтобы тебе сделать удовольствие...— сказал князь Андрей, но в ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, он раскаялся.— Очень рад, право, очень рад, мой друг,— прибавил он».

Есть в нем и мягкость, и нежность, и умение бережно обращаться с человеком, и такт — все это есть для сестры, для отца, для Пьера, будет для сына, для Наташи, даже для едва знакомого ему капитана Тушина, а для жены ничего этого нет. Чужая она ему, как Курагины в свете, как штабные офицеры в армии. Чужая, но... жена. Женщина, с которой он связал свою жизнь. Мать его будущего сына. И никому он не позволит сказать о ней вслух то, что он сам знает.

Прощаясь с женой, он еще из-за двери слышит ее веселый голосок и ту «фразу о графине Зубовой», которую «уже раз пять слышал при посторонних князь Андрей от своей жены». Как осудить его, когда, прощаясь, он, вздохнув, сказал только:

«— Ну,— ...и это «ну» звучало холодной насмешкой, как будто он говорил: «Теперь проделывайте вы ваши штуки».

Но есть другое прощанье — с отцом.

«— Едешь? — И он опять стал писать.

— Пришел проститься.

— Целуй сюда,— он показал щеку,— спасибо, спасибо!

— За что вы меня благодарите?

— За то, что не просрочиваешь, за бабью юбку не держишься...»

Одно-единственное ласковое слово будет произнесено в этом прощальном разговоре отца с сыном. И, тем не менее, в этом разговоре ясно видна такая их любовь друг к другу, о какой и представления не имеет маленькая княгиня.

Сын просит отца послать в Москву за доктором, когда жене придет время родить. Андрей знает, что отец против врачей в таких случаях: «никто помочь не может, коли натура не поможет...»

«— Гм... гм...— проговорил про себя старый князь, продолжая дописывать.— Сделаю».

В этом «сделаю» — больше любви к Андрею, чем во всех обмороках маленькой княгини. Мы уже достаточно знаем старика, чтобы понять, как редко и с каким душевным трудом он поступает против своих убеждений. Но сын сказал: «это ее и моя фантазия» — и старик не вступает в спор. Он сделает.

«Он расчеркнул подпись, вдруг быстро повернулся к сыну и засмеялся.

— Плохо дело, а?

— Что плохо, батюшка?

— Жена! — коротко и значительно сказал старый князь.

— Я не понимаю,— сказал князь Андрей.

— Да нечего делать, дружок,— сказал князь,— они все такие, не разженишься. Ты не бойся; никому не скажу; а ты сам знаешь».

Секунду назад невозможно было себе представить, чтобы Николай Андреевич Болконский мог произнести такое слово: д р у ж о к... Но он произносит его, и в этом единственном слове вся его тревога за сына, и любовь, и гордость им, и печаль предстоящей разлуки. Но о жене князь Андрей не хочет говорить.

Ни княжне Марье, ни Пьеру, ни даже отцу — никому князь Андрей не скажет осуждающего слова о своей жене. О себе — что он несчастлив — да. Но никаких упреков,

обвинений. «Я не понимаю...» И старый князь прекращает разговор, потому что уважает в сыне личность и не позволяет себе, как это делают многие родители, вмешиваться в его интимную жизнь. «Я все сделаю. Ты будь покоен», «о жене не заботься, что возможно сделать, то будет сделано» — этих двух фраз довольно, чтобы Андрей спокойно уехал, зная характер отца.

Так же коротко и деловито старик показывает сыну, где лежат его записки, завещает, как с ними поступить в случае его смерти...

«Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно».

Есть отношения — и хорошие отношения — между родителями и детьми, в которых неизбежен маленький налет фальши; между Болконскими фальши не может быть ни в чем, и оба знают это. Когда отец «крикливым голосом» говорит: «Коли тебя убьют, мне, старику, больно будет... А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!» — Андрей отвечает:

«— Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка».

Все ясно между этими двумя людьми. И просьба князя Андрея: если его убьют и родится сын, не отпускать его от себя, воспитать — тоже понятна старику.

«— Жене не отдавать? — сказал старик и засмеялся.

Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что-то дрогнуло в нижней части лица старого князя.

— Простились... ступай! — вдруг сказал он.— Ступай! — закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета».

Вот так же под Бородиным Андрей закричит на Пьера. Так поступают они, эти трудные люди, в минуты волнения, пряча от всех свои чувства. Но когда Андрей вышел, «из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания».

А князь Андрей в это время, простившись с женой, «*осторожно* отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и *бережно* посадил ее на кресло». (Курсив мой.— *Н. Д.*) Вот здесь-то и проявляется его сложное чувство к жене: чужая, но своя. И как бы ни было, жалеет он ее, хоть и старается это скрывать, так же как отец скрывает свою тревогу и боль за сына.

Трудные они люди. У Ростовых все будет наоборот:

там плачут, прощаясь, и открыто радуются встрече — там все чувства наружу. Но в сдержанности Болконских есть своя правота, и чувства, скрытые за этой сдержанностью, не менее глубоки, чем те, что открыты всем.

Трудные они люди. Но кто сказал, что легкий человек — непременно хороший? Легкость удобна, вот с Борисом Друбецким — легко. А с Болконскими — нелегко, особенно со стариком, потому что он — не как все, он — сам, он — ЛИЧНОСТЬ. Этим-то и дорог, этим и побеждает нас, несмотря на все свои причуды.

8. Необходимые пояснения

Преодолев первые главы «Войны и мира» с их французским языком, мы уже не откладываем книгу в сторону. Мы входим в жизнь героев, разделяем ее и не можем от нее оторваться. Но есть страницы, заставляющие нас останавливаться и даже скучать,— на этих страницах Толстой говорит о своем понимании истории, излагает свою философию войны и мира.

Нам представляется странным и непонятным, зачем понадобилось вставлять эти серьезные философские главы в художественное произведение. Разве читателям и без того не ясна и не интересна жизнь героев «Войны и мира»?

Толстой не мог обойтись без изложения своих философских взглядов, потому что он был великий русский писатель. Именно так — настоящий писатель всегда испытывает потребность не только показывать читателю жизнь, но и объяснять эту жизнь, и учить жизни.

Особенно сильно это стремление у русских писателей. Еще Екатерина II говорила в сердцах, что господин Фонвизин хочет учить ее царствовать,— и это было правдой. Ломоносов, Фонвизин, Радищев, Державин в своих сочинениях учили простых людей, как им честно жить, а царей — как им правильно и достойно управлять государством. Цари не слушались, но это уже не зависело от писателей.

Литература XIX века продолжила и углубила эту традицию. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Островский, Гончаров, Достоевский — все они своими книгами учили читателей жить. Все в той или иной степени давали

уроки правителям государства; но, кроме того, они учили простых людей тому, что сами открыли, поняли о жизни.

Толстой в «Войне и мире» использовал огромный опыт всей русской литературы. Цель, которую он поставил перед собой, была под силу только неутомимому мыслителю: Толстой хотел объяснить читателю не жизнь одного человека или группы людей, а жизнь целого народа на протяжении почти двадцати лет. Такая задача требовала громадного напряжения ума — Толстой выработал целую систему взглядов, которую не хотел и не мог держать при себе; он должен был отдать свои мысли читателю.

О чем же думал Толстой, когда писал «Войну и мир»?

Он говорил, что в своем романе больше всего любил мысль народную,— это очень важное признание.

Что такое русский народ, каков он, как связаны между собой те отдельные люди, из которых он состоит? Кто может направлять эту массу, руководить ею, нужно ли вообще такое руководство? Какими силами движется история и какова роль каждого отдельного человека в этом движении массы людей — вот какие вопросы больше всего интересовали Толстого.

Поэтому в его романе такое множество людей: отдельных судеб и судеб человеческих коллективов; мы видим мирные и военные будни целых полков; перед нами проходят крестьяне и ополченцы, партизаны, раненые и пленные солдаты, толпа московских мастеровых — судьбы всех этих людей перекрещиваются, рядом с ними оказываются то князь Андрей, то Кутузов, то Пьер, то Петя Ростов, то Наташа — и в нашем сознании возникает грандиозная картина жизни всей России в один из самых значительных моментов ее истории.

И сама история оказывается не только прошлым. Для Толстого Наполеон и Александр I, Кутузов и Багратион вовсе не только исторические деятели; они прежде всего люди, со своими человеческими качествами, достоинствами и недостатками.

Наполеон в «Войне и мире» не был бы так интересен нам сегодня, если бы Толстой видел в нем только полководца, двинувшего свои войска в Россию и разгромленного нашим народом полтораста лет назад. Наполеон для Толстого — воплощение индивидуализма, человек, уверенный, что он стоит выше других людей и потому ему все позволено; с именем Наполеона Толстой связывает сложнейшие нравственные вопросы.

Толстой был против распространенной в его эпоху теории, что история движется мыслями и решениями отдельных выдающихся личностей. По его мнению, развитие истории зависит от множества мелких поступков отдельных людей; поступки эти, соединяясь, образуют события; история движется не волей Наполеона или Александра I, а народными массами, участвующими в исторических событиях.

Поэтому Наполеон у него бывает смешон в своем убеждении, что он руководит битвами и ходом истории; а сила Кутузова в том, что он опирается на стихийно выраженную народную волю, учитывает настроение народа.

Толстой считал, что жизнью людей управляют постоянные, вечные законы,— объяснить эти законы он не мог, но верил в них. Поэтому его любимые герои иногда оказываются пассивными: Кутузов, например, не вмешивается в ход битвы, а предоставляет событиям идти, как они идут.

Мы не можем сегодня полностью принять и разделить философию Толстого, но многое в ней привлекает нас — и, в особенности, призыв прислушиваться к мнению народному.

Философская система Толстого трудна для неподготовленного читателя, поэтому не имеет смысла говорить сейчас о всех ее сторонах. Читая следующие главы, мы еще вернемся к некоторым взглядам Толстого. Сейчас же, заранее, нам важно понять главное: философия Толстого неотделима от жизни Наташи и Пьера, князя Андрея, Долохова, Сони, Денисова и всех остальных, потому что философские взгляды Толстого выросли из его мыслей о жизни людей, о счастье человека, о его долге перед другими людьми и перед землей, на которой он живет.

9. Смотр в Браунау

Первая картина войны, которую рисует Толстой,— не сражение, не наступление, не взятие крепости, не оборона даже; первая военная картина — смотр, какой мог бы происходить в мирное время. И с первых же строк, повествующих о войне, даже с первой фразы, Толстой

дает понять, что война эта не нужна народу, ни русскому, ни австрийскому:

«В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау».

Кто мог тогда предполагать, что почти через сто лет в этом самом Браунау родится мальчик, чье имя проклянет человечество в двадцатом веке,— Адольф Шикльгрубер. Став взрослым, он возьмет себе фамилию Гитлер и, забыв уроки Наполеона, поведет свои войска в Россию...

А пока Браунау — маленький австрийский городок, где находится главная квартира Кутузова и куда собираются русские войска, среди них — пехотный полк, в котором служит разжалованный в солдаты Долохов.

У генерала, командира полка, одна забота: «лучше перекланяться, чем недокланяться». Поэтому усталые солдаты после тридцативерстного перехода «не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились»; поэтому такую ярость вызывает у генерала неположенный цвет шинели Долохова; поэтому «звуки усердных голосов, перевирая», повторяют приказ:

«Командир третьей роты к генералу! командира к генералу, третьей роты к командиру!..» И, наконец: «Генерала в третью роту!»

Поэтому генерал кричит на командира третьей роты Тимохина, пожилого заслуженного офицера; называет злосчастную шинель Долохова то сарафаном, то казакином; не без юмора замечает: «Что, он в фельдмаршалы разжалован, что ли, или в солдаты?..» — и, распаляясь, утверждаясь в своем гневе, который уже ему самому понравился, останавливается перед наглым взглядом Долохова и его гордым звучным голосом: «Не обязан переносить оскорбления».

Роман Толстого называется «Война и мир»,— уже в этом названии контраст, резкое противопоставление будней войны и будней мира; казалось бы, на войне все иначе, все по-другому, чем в мирной жизни, и люди проявят себя здесь не так, как в светских гостиных; выступит иная, лучшая их сущность...

Оказывается, ничего подобного. Отчаянный и наглый Долохов остается самим собой; в солдатском строю он тот же, что в разгульной компании Анатоля Курагина. Полковой командир, «плотный и широкий больше от

груди к спине, чем от одного плеча к другому», не был нам знаком раньше, но на его месте мы легко можем представить себе знакомого нам князя Василия,— он вел бы себя точно так же, и девиз «лучше перекланяться, чем недокланяться» вполне бы ему подошел.

Мы еще не видели на войне князя Андрея, но не можем себе представить, чтобы он испугался генерала, как Тимохин, или был озабочен переодеванием солдат, как генерал. Зато очень легко представить себе Бориса Друбецкого адъютантом командира полка, выполняющим все его бессмысленные требования...

Оказывается, на войне люди проявляют себя так же, как в мирной жизни,— может быть, только ярче выступают их характеры; нет контраста между войной и миром; есть другой контраст: как в мирной жизни, так и на войне одни люди честны, другие — бесчестны и думают не о деле, а о своей выгоде.

Полк прошел тысячу верст из России. Солдатские сапоги разбиты; новую обувь должно было доставить австрийское ведомство и не доставило: полкового командира это заботит мало. Полк не готов к боевым действиям, потому что нельзя воевать босиком, но полковой командир хочет показать главнокомандующему как раз обратное: все в порядке, полк готов к войне.

Только вот в чем беда: главнокомандующему не этого надо. Кутузов «намеревался показать австрийскому генералу печальное положение, в котором приходили войска из России». Он-то знает, какое значение имеет обувь; после смотра солдаты скажут о нем: «Не... брат, глазастей тебя, и сапоги и подвертки все оглядел...»

Все, что делает и говорит Кутузов, обратно тому, что делает и говорит молодцеватый, несмотря на свою тучность, полковой командир. Кутузов стар; Толстой подчеркивает, что он, «тяжело ступая... опускал ногу с подножки», что голос у него слабый, что шел он «медленно и вяло». Полковой командир тоже немолод, но старается выглядеть молодым; он неестественен — Кутузов прост в каждом движении, «точно как будто и не было этих двух тысяч людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира».

Тот самый капитан Тимохин, который вызвал гнев полкового командира из-за синей шинели Долохова, привлекает внимание Кутузова:

«— А, Тимохин! — сказал главнокомандующий...

...В эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы; и потому *Кутузов, видимо поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся.* По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.

— Еще измаильский товарищ,— сказал он.— Храбрый офицер! Ты доволен им? — спросил Кутузов у полкового командира.

И полковой командир... *вздрогнул*, подошел вперед и отвечал:

— Очень доволен, ваше высокопревосходительство». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Полковой командир озабочен только одним — всегда одним: не упустить случая выдвинуться, понравиться начальству, «перекланяться». Недаром «видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного с еще большим наслаждением, чем обязанности начальника». Что бы ни происходило, он прежде всего думает о том, как он будет выглядеть в глазах начальства. Где уж ему замечать других людей, где ему понять, что капитан Тимохин — храбрый офицер...

Кутузов ведь тоже не всегда был главнокомандующим — но и раньше, когда он был моложе, он умел видеть других людей, понимать подчиненных, поэтому еще с турецкой войны он запомнил Тимохина. Там, в битве под Измаилом, Кутузов потерял глаз. И Тимохину памятна эта битва: после смотра он ответит полковому командиру, «улыбаясь и *раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом».* (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Что же сказал ему полковой командир и что ответил Тимохин?

«— Вы на меня не претендуйте, Прохор Игнатьич!.. Служба царская... нельзя... другой раз во фронте оборвешь... Сам извинюсь первый, вы меня знаете...

— Помилуйте, генерал, да смею ли я! — отвечал капитан...»

Теперь, после милостивого обращения Кутузова с капитаном, генерал обращается к нему по имени и отчеству, почти лебезит перед ним. А Тимохин? «Да смею ли я!..» Он маленький человек, такой же маленький, как капитан Тушин, с которым мы скоро познакомимся; как Максим

Максимыч у Лермонтова. Но на этих маленьких людях держится русская армия — в битве под Шенграбеном Тушин и Тимохин определят успех сражения; оба они не боятся неприятеля, но боятся начальства; это понимает Кутузов, поэтому он отвернулся, чтобы не заставлять Тимохина вытягиваться сверх меры.

Кутузов не только очень, очень много знает о людях — он понимает их и жалеет, сколько это возможно; он живет не по законам света, и в нашем восприятии он сразу оказывается своим, как Пьер, как Наташа, как князь Андрей, потому что главное разделение людей в романе, которое подсказывает нам Толстой,— главное разделение такое: близки и дороги люди искренние и естественные, ненавистны и чужды те, кто фальшивы. Это разделение пройдет через весь роман, и на войне, и в мире оно будет главным в нашем отношении к людям, с которыми познакомит нас Толстой.

10. Юнкер Ростов и поручик Телянин

«— А, Бондаренко, друг сердечный,— проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару.— Выводи, дружок,— сказал он с тою братскою веселою нежностью, с которою обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы».

Так появляется на войне Николай Ростов — счастливый, молодой, всем улыбающийся, с оживленным лицом. И немец, хозяин дома, где живет Ростов, встречает его так же радостно, как гусар Бондаренко.

Мы видели Ростова в Москве, в домашнем кругу, когда праздновались именины его матери и сестры. Об атмосфере семьи Ростовых речь впереди. Но даже самое беглое знакомство с Николаем, его родителями, с Наташей и Петей убедило нас: люди в этой семье живут по закону естественности.

Николай еще очень молод; он весь открыт, весь как на ладони, с острым самолюбием молодости и с постоянным страхом сказать или сделать что-то не то, с желанием всем понравиться, всем быть полезным и, главное, с неистребимой жаждой казаться взрослым, сильным и грубоватым мужчиной, настоящим офицером.

А он — мальчик. Доверчивый, чистый и юный мальчик, конечно, влюбившийся в своего эскадронного командира Денисова, воплощающего тот самый идеал мужчины, к какому стремится Ростов:

«— ...А я пг'одулся, бг'ат, вчег'а, как сукин сын!.. Хоть бы женщины были. А то тут, кг'оме как пить, делать нечего. Хоть бы дг'аться ског'ей...»

Таким настоящим мужчиной, удальцом, мечтает быть и Ростов. Одного он еще не понимает: Денисов действительно замечательный человек и храбрец, но вовсе не потому, что он кричит и машет саблей, играет в карты и пьет — все это вещи внешние и малозначащие; главное в Денисове раскроется позднее; Ростов этого главного не видит и подражает только внешнему, показному в своем начальнике...

Настоящий мужчина должен, по мнению Ростова, иметь настоящую лошадь и уж ни в коем случае не торговаться, покупая ее, а давать сколько спросят. Поэтому Николай купил у неприятного ему поручика Телянина лошадь и не торговался, хотя она «не стоила и половины» заплаченных за нее денег.

Телянин неприятен и нам — уже тем, что нажился на продаже лошади. Кроме того, он «никогда не смотрел в глаза человеку, с кем говорил»; Толстой коротко сообщает: «Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии», в полку его не любили все, особенно Ростов.

Но Ростов не смеет довериться своему чутью: настоящий мужчина должен быть хорош с товарищами, поэтому он старается быть приветлив с Теляниным. И все-таки, когда обнаруживается, что у Денисова пропал кошелек и Денисов кричит на своего лакея Лаврушку, Ростов бросается к двери — он понимает, что кошелек взял Телянин.

Денисов тоже понимает это. Но думает он о другом: заподозрить в краже офицера — значит бросить тень на честь всего полка. Пропади они пропадом, деньги, лишь бы не запятнать полк — вот о чем думает Денисов, удерживая Ростова. Ростов тоже меньше всего озабочен пропажей денег. Он о другом — ведь в комнате, кроме Телянина и Лаврушки, был он, Николай,— и на него, стало быть, может пасть подозрение...

Потеряв голову, весь дрожа, он врывается в трактир, где Телянин как раз вынимает кошелек, чтобы расплатиться, и успевает только сообразить, что нельзя говорить



при всех,— он тащит Телянина к окну и шепотом говорит ему: «Это деньги Денисова, вы их взяли...»

«— Что?.. Что?.. Как вы смеете? Что?..— проговорил Телянин.

Но эти слова звучали жалобным, отчаянным криком и мольбой о прощении. Как только Ростов услыхал этот звук голоса, с души его свалился огромный камень сомнения. Он почувствовал радость, и в то же мгновение ему стало жалко несчастного, стоявшего перед ним человека; но надо было до конца довести начатое дело».

Чувства, охватившие Ростова, так понятны: он по-детски счастлив, что с него снято подозрение (хотя никто его не подозревал); он рад и тому, что Лаврушка не виноват (хотя знал это и раньше); он полон омерзения и ненависти к Телянину, и в то же время брезгливая жалость охватывает его, и отчего-то делается стыдно, как всегда стыдно хорошему человеку при виде подлости.

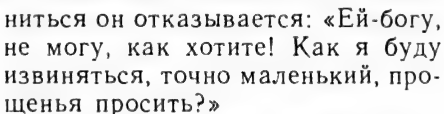
Николай думает, что все вокруг должно идти по справедливости. Офицер украл деньги у товарища — это позор; следовательно, вор должен быть опозорен перед всеми; следовательно, нужно сказать о его поступке полковому командиру.

Ростов так и делает, а полковой командир отвечает ему, что он лжет.

В той простой и правильной мужской жизни, какой хочет жить Ростов, в подобных случаях вызывают на дуэль. Он так и объясняет товарищам: «...я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть даст мне удовлетворение...»

Но все оказывается совсем не так просто: товарищи не поддерживают Ростова, они на стороне полкового командира: «Спросите у Денисова, похоже это на что-нибудь, чтобы юнкер требовал удовлетворения у полкового командира?» — говорит пожилой опытный офицер.— «Вы не хотите извиниться, а вы, батюшка, не только перед ним, а перед всем полком, перед всеми нами, вы кругом виноваты... Что теперь делать полковому командиру? Надо отдать под суд офицера и замарать весь полк? Из-за одного негодяя весь полк осрамить? Так, что ли, по-вашему? А по-нашему не так».

Кто же прав? Все офицеры — и Денисов в их числе — согласны со своим пожилым товарищем; Ростов, «краснея и бледнея», оправдывается: «Вы напрасно обо мне думаете так... я... для меня... я за честь полка...» Но извиниться он отказывается: «Ей-богу, не могу, как хотите! Как я буду извиняться, точно маленький, прощенья просить?»





Столкнулись два разных представления о чести и бесчестье. Для Николая бесчестье — обнаружить его. Офицеры убеждены, что делают благое дело, уговаривая Ростова. Но они разрушают в его душе ту веру в справедливость и благородство, которой он жил до сих пор. Вот сейчас, убеждая его извиниться перед полковым командиром, товарищи заставляют Николая сделать первый из той цепи поступков, которые превратят его в нерассуждающего человека, привыкшего не думать, а только подчиняться.

Пройдет время, и окажется, что неопытный Ростов был в этой

истории честнее и благороднее умудренных опытом офицеров. Они дорого заплатят за то, что позволили Телянину, сказавшись больным, избегнуть суда. Пройдет время — Телянин возникнет на пути Денисова, и, в сущности, по его вине Денисов попадет под суд и долгие месяцы будет унижен, оскорблен, затоптан в грязь, и даже царь отклонит его прошение о помиловании. Подлец победит благородного человека, воспользовавшись его же благородством,— и когда это случится, Денисов, может быть, пожалеет, что в свое время помог остановить горячего Ростова в его стремлении к справедливости, но будет уже поздно.

11. Адъютант Кутузова князь Болконский

Смотр в Браунау. Кутузов идет по солдатским рядам. Сзади — свита. «Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский».

Так появляется на войне князь Андрей. Когда «Кутузов задумался, видимо припоминая что-то», князь Андрей напомнил ему о разжалованном Долохове. После смотра он вошел в кабинет главнокомандующего с бумагами, которые нужны были Кутузову, взял другие бумаги, выслушал приказание: «Из всего этого чистенько, на французском языке, составь memorandum, записочку...»

Перед нами аккуратный, исполнительный штабной офицер. Читая об этом, испытываешь разочарование: неужели князь Андрей шел на войну, чтобы составлять меморандумы? Мы хотели бы видеть его в битве, в пороховом дыму, впереди войск — а тут кабинет, шорох бумаг, тихие шаги по ковру...

Но вот что удивительно: князь Андрей «много изменился за это время... он имел вид человека... занятого делом приятным и интересным». Князь Андрей доволен своей жизнью на войне! И Кутузов доволен им. «Ваш сын... надежду подает быть офицером, из ряду выходящим по своим знаниям, твердости и исполнительности» — так писал он «своему старому товарищу, отцу князя Андрея».

Дело в том, что война состоит не только из грохота орудий, сражений и подвигов. В понятие войны входит и все то, что мы видели: старание генерала выслужиться,

и трепет Тимохина перед начальством, и воровство Телянина, и проигрыш Денисова, и мученья Ростова... На войне живут люди — и, пока живы, они продолжают мечтать, каждый о своем, любить и ненавидеть, огорчаться и радоваться по самым незначительным поводам. Здесь, как и в мирной жизни, бывают свои будни — и, может быть, труднее вести себя достойно в будничной жизни войны, чем в сражениях.

Князь Андрей живет размеренно-спокойной жизнью штаба — но вот она прерывается звуком хлопнувшей двери, быстрыми шагами и быстрым голосом австрийского генерала с перевязанной головой. Это генерал Мак, армия которого разбита французами. Кутузов встречает Мака с неподвижным лицом,— нужно несколько мгновений, чтобы он понял глубину и значение происшедшей трагедии. «Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; *он почтительно наклонил голову,* закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Мака и сам за собой затворил дверь». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Так ведет себя Кутузов — его почтительность вызвана сочувствием: потерпевший поражение генерал страдает от своего позора, и было бы недостойно усиливать его страдания.

Но адъютанты Кутузова, Несвицкий и Жерков, настроены иначе. Австрийцев же побили, не наших,— есть чему огорчаться!

Жеркова мы помним на смотре в Браунау: когда Кутузов шел вместе с полковым командиром по солдатским рядам, Жерков, следуя за ними в свите, передразнивал каждое движение полкового командира — так он забавлялся и смешил товарищей. Позже, при переправе через реку Энс, он с наивным лицом объяснит Несвицкому, зачем понадобилось послать поджигать мост многих людей — вместо двух — и подвергнуть опасности многие жизни:

«— Ах, ваше сиятельство! Как вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом даст! А так-то — хоть и поколотят, да можно эскадрон представить и самому бантик получить...»

Жерков цинично, вслух говорит то, что другие думают про себя. К тому же он еще и шутник: везде находит повод развлечься. Вот и сейчас он расталкивает своих друзей, издевательски очищая дорогу для австрийских генералов; поздравляет их с приездом Мака...



В этой сцене я впервые ясно вижу, что князь Андрей — сын своего отца.

«— Если вы, милостивый государь,— заговорил он пронзительно, с легким дрожанием нижней челюсти,— хотите быть *шутом*, то я вам в этом не могу воспрепятствовать; но объявляю вам, что если вы *осмелитесь* другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя». (Курсив Толстого.)

В словах князя Андрея по крайней мере три повода для того, чтобы Жерков немедленно вызвал его на дуэль:

«шутом», «осмелитесь», «скоморошничать»,— даже представить себе невозможно, чтобы кто-нибудь посмел сказать хоть одно из этих слов князю Андрею Болконскому.

Но Жерков и Несвицкий всего лишь удивлены, и Жерков начинает оправдываться:

«— Что ж, я поздравил только...

— Я не шучу с вами, извольте молчать! — крикнул Болконский».

Этот пронзительный голос и резкий крик — так просыпаются в Андрее недостатки отца: нетерпимость, деспотическая властность, но за ними встают достоинства старого князя.

«— Ну, что ты, братец! — успокаивая, сказал Несвицкий.

— Как что? — заговорил князь Андрей, останавливаясь от волнения.— Да ты пойми, что мы — или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела...»

Он говорит сбивчиво, отсюда эти не очень правильные обороты: «офицеры, которые служим», «дела нет до... дела...» Но в его взволнованной речи — то самое отношение к войне, которое заставило Кутузова почтительно пропустить Мака вперед; и теперь понятно, почему Кутузов видит Андрея «из ряду выходящим» сотрудником своего штаба; теперь понятны слова Толстого: «князь Андрей был одним из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела».

Жеркову и Несвицкому поведение князя Андрея кажется странной выходкой — и, тем не менее, они отступают. «*Мальчишкам* только можно так забавляться,— прибавил князь Андрей по-русски, выговаривая это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков мог еще слышать его». (Курсив Толстого.)

Уже не в запальчивости, уже успокоившись, он еще раз сознательно оскорбляет Жеркова: «Он подождал, не ответит ли что-нибудь корнет. Но корнет повернулся и вышел из коридора».

Казалось бы, Жерков, так любящий веселиться, дразнить всех вокруг, безнаказанно издеваться над русскими и австрийскими генералами,— казалось бы, этот бесшабашный Жерков должен с легкостью идти на дуэль и при первом же резком слове бросить вызов оскорбившему

его человеку. Но нет. Жерков становится очень благоразумен, как только дело касается его драгоценной жизни. Неблагоразумен князь Андрей, но мы прощаем пронзительный голос, крик, резкость, потому что за всем этим — крупные чувства: подлинная горечь поражения и надежда на победу, и мечта о подвиге. А у Жеркова все мелкое: и развлечения, и мысли о карьере, и мгновенный расчетливый страх перед князем Болконским.

* * *

Прошло несколько дней — тянулись будни войны; позади осталось несколько сражений, в которых русские солдаты проявили «храбрость и стойкость, признаваемую самим неприятелем»,— и вот после одного из таких сражений, где Кутузов атаковал и разбил французскую армию генерала Мортье, князь Андрей Болконский едет с известием об этой победе к австрийскому двору.

Толстой очень подробно рассказал о столкновении князя Андрея с Жерковым. И — в трех строчках — об участии Болконского в битве: «Князь Андрей находился во время сражения при убитом в этом деле австрийском генерале Шмите. Под ним была ранена лошадь, и сам он был слегка оцарапан в руку пулей». Позже князь Андрей будет вспоминать, «как содрогается его сердце, и он выезжает вперед рядом с Шмитом, и пули весело свистят вокруг него, и он испытывает то чувство удесятеренной радости жизни, какого он не испытывал с самого детства».

Больше мы ничего не узнаем об этом сражении, да и не нужно; мы уже поняли главное: там, где проверяются душевные силы человека, князь Андрей радостно напряжен; он ведет себя точно так, как мы ждем от него. Но вот о чем хочется задуматься: кажется, он легче справляется с собой в бою, чем в буднях; это чувство испытывает позднее и Ростов; в сражении все ясно: позади — свои, впереди — чужие; а в буднях все переплетается, и трудно бывает понять, кто свой, кто чужой и где главные враги.

Вот он скачет в Брюнн к австрийскому двору с известием об одержанной русскими победе. Он радостно возбужден, взволнован, многое перенес за сутки, настроен торжественно. Но австрийский двор вовсе не так обрадован победой русских, как представлялось князю Андрею. Здесь вступают в действие иные силы, иные стремления, «дипломатические тонкости», как говорит князь Андрей,

и он чувствует, что «весь интерес и счастие, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта».

Совсем недавно мы слышали срывающийся голос юного Ростова: «...я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что здесь не нужно тонкостей...» Князь Андрей и старше, и опытней, и умнее Николая Ростова: они очень разные люди — первая же встреча между ними приведет к ссоре и едва не кончится дуэлью. Но оба они пришли на войну с чистыми помыслами и поэтому становятся похожи друг на друга, сталкиваясь с той силой неестественного, несправедливого, которую оба не могут и не хотят понять.

Дипломат Билибин объясняет князю Андрею то, что ему непонятно. Какая радость австрийскому двору от победы русских войск, когда австрийские генералы один за другим подвергаются полному поражению? Оказывается, и здесь живут и диктуют свою волю те законы, от которых князь Андрей бежал из петербургского света.

Недаром здесь, в Брюнне, среди дипломатов оказывается Ипполит Курагин — ненавистное Болконскому воплощение гостиной Шерер. Правда, он «был шутом в этом обществе», но его слушают, не гонят, он спокойно ждет наград и повышений по службе...

Встреча с австрийским императором разочаровала князя Андрея — он не успел толком рассказать о сражении, он увидел равнодушие к тому общему делу, интересами которого жил в последние месяцы; можно было закричать на Жеркова, но если император союзной Австрии относится к войне почти так же, как Жерков,— что делать тогда?

Вернувшись к Билибину, князь Андрей узнает то, «что уже знают все кучера в городе» и что неизвестно во дворце: французы приближаются к Брюнну.

Зная положение русских войск, Андрей мгновенно понимает, что несет с собой это известие: «значит, и армия погибла: она будет отрезана». Вот когда наступает час, ради которого он покинул отца и беременную жену.

Известие о безнадежном положении русской армии «было горестно и вместе с тем приятно князю Андрею... ему пришло в голову, что ему-то именно предназначено вывести русскую армию из этого положения, что вот он,

тот Тулон, который выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе!»

Билибин уговаривает его — очень разумно, с точки зрения здравого смысла,— не возвращаться в армию Кутузова, где его ждет «или поражение и срам», или мир, если он будет заключен. «Вам не велено приезжать назад, и отсюда вас не отпустили; стало быть, вы можете остаться и ехать с нами...» — толкует Билибин.

«— Этого я не могу рассудить,— холодно сказал князь Андрей, а подумал: «Еду для того, чтобы спасти армию».

— Mon cher, vous êtes un héros,— сказал Билибин».

Кто из них прав? Да, рассуждения Билибина совершенно справедливы, и положение русской армии безнадежно, и незачем князю Андрею ехать, но сам же Билибин, вопреки всякому здравому смыслу, признает: «Мой милый, вы герой». Потому что умение поступать вопреки здравому смыслу, повинуясь только голосу своей совести, только чувству долга, своей ответственности перед людьми, страной, армией — это умение и называется героизмом.

«А ежели ничего не остается, кроме как умереть? — думал князь Андрей уже в дороге, направляясь навстречу русской армии.— Что ж, коли нужно! Я сделаю это не хуже других».

Вот что имел в виду старик Болконский, когда взвизгнул: «...коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет... стыдно!» Эти трудные, эти гордые люди превыше всего ставят честь, свое мужское и человеческое достоинство. Отказавшись ехать с Билибиным и направляясь к армии Кутузова, князь Андрей ведет себя как сын Николая Болконского. В штабе Кутузова, куда явился, наконец, князь Андрей, каждый тоже ведет себя согласно своему характеру. Красавец Несвицкий «перевьючил себе все, что... нужно, на двух лошадей... Хоть через Богемские горы удирать». А Кутузов, озабоченный, стоит с Багратионом на крыльце, не видя и не слыша Болконского.

«— Ну, князь, прощай,— сказал он Багратиону.— Христос с тобой. Благословляю тебя на великий подвиг».

И князь Андрей, еще не понимая, что происходит, знает одно: не станет он удирать с Несвицким.

«— Ваше превосходительство, я желал бы быть полезен здесь. Позвольте мне остаться в отряде князя Багратиона»,— говорит он Кутузову.

«— Садись,— сказал Кутузов и, заметив, что Болконский медлит,— мне хорошие офицеры самому нужны, самому нужны.

Они сели в коляску и молча проехали несколько минут.

— Еще впереди много, много всего будет,— сказал он со старческим выражением проницательности, как будто поняв все, что делалось в душе Болконского...»

Князю Андрею кажется, что сейчас, вот сию минуту он найдет или упустит свой единственный час, свой Тулон. А жизнь длинна и впереди Шенграбен, и Аустерлиц, и Бородино; может быть, среди людей, занятых собой, своим спасеньем или своей честью, славой, один Кутузов понимает это.

12. Битва при Шенграбене

Понимая, что русская армия почти в безвыходном положении, Кутузов решил послать Багратиона с четырьмя тысячами солдат через труднопроходимые Богемские горы навстречу французам, а сам он со всей остальной армией, обозами и тяжестями двинулся туда же по другой, более легкой, но более длинной дороге. Багратиону предстояло не только быстро совершить трудный переход, но и задерживать сорокатысячную французскую армию до прихода Кутузова. Вот почему, прощаясь с Багратионом, Кутузов сказал: «Благословляю тебя на великий подвиг».

Отряду Багратиона удалось опередить французов и даже ввести их в заблуждение. Любимый маршал Наполеона Мюрат подумал, что перед ним вся русская армия, и тоже решил дожидаться, когда подойдут все наполеоновские войска. Пока это известие дошло до Наполеона и он понял ошибку Мюрата, отряд Багратиона получил передышку. Русские расположились возле австрийской деревни Шенграбен и ждали сражения.

Здесь, в битве под Шенграбеном, мы увидим всех, с кем познакомились до сих пор. Здесь будут Николай Ростов и Денисов, любитель шуток Жерков и храбрый Долохов, красноносый капитан Тимохин и полковой командир Ростова, и тот генерал, чей полк смотрел Кутузов в Браунау, и князь Андрей Болконский, и Багратион. Только Телянина здесь не будет: позорный поступок осво-

бодил его от необходимости участвовать в сражении: он вышел из полка, пристроился где-то в другом месте и больше не подвергался опасности быть раненым или убитым

Как же ведут себя в бою все те, с кем мы познакомились в предыдущих главах? Точно так же, как каждый из них вел себя в будни войны, потому что чудес не бывает, и в трудный момент, когда в человеке собираются все силы, силы эти — те самые, что накоплены долгими обычными днями его жизни.

Как всегда, холоден, спокоен и деловит князь Андрей Добившись все-таки разрешения присоединиться к отряду Багратиона, он прежде всего отправляется осматривать позицию и изучать расположение войск.

«Ежели это один из обыкновенных штабных франтиков, посылаемых для получения крестика, то он и в ариергарде получит награду, а ежели хочет со мной быть, пускай... пригодится, коли храбрый офицер».

Так думает о нем Багратион, а князь Андрей не торопится показывать свою храбрость; ему важно понять и продумать предстоящее сражение, чтобы в нужную минуту действовать разумно и хладнокровно.

Как всегда, дерзок и храбр Долохов. Мы дважды встречаем его в этот день: перед сражением он, подойдя к самому краю цепи, переговаривается с французским гренадером. «Француз доказывал, смешивая австрийцев с русскими, что русские сдались и бежали от самого Ульма; Долохов доказывал, что русские не сдавались, а били французов». Было очень рискованно, стоя перед дулами французских ружей, называть императора Наполеона просто по фамилии: Бонапарте. Долохов решается на это.

«Нет Бонапарте. Есть император!..» — кричит француз.

«Черт его дери, вашего императора!» — отвечает Долохов.

Таков он был в компании Анатоля Курагина, когда вызвался выпить бутылку рому, сидя на окне третьего этажа со спущенными наружу ногами. Таков он был на смотре в Браунау, когда «громко, звучно» сказал полковому командиру, что не обязан переносить оскорбления. Он никого и ничего не боится, этот красивый человек с наглыми светлыми глазами. Но з а ч е м его храбрость?

Она проявится в бою: Долохов «в упор убил одного француза и первый взял за воротник сдавшегося офицера». Но после этого он подойдет к полковому командиру:

«— Ваше превосходительство, вот два трофея,— сказал Долохов, указывая на французскую шпагу и сумку.— Мною взят в плен офицер. Я остановил роту.— Долохов тяжело дышал от усталости; он говорил с остановками.— Вся рота может свидетельствовать. Прошу запомнить, ваше превосходительство!

— Хорошо, хорошо,— сказал полковой командир...

Но Долохов не отошел; он развязал платок, дернул его и показал запекшуюся в волосах кровь.

— Рана штыком, я остался во фронте. Попомните, ваше превосходительство».

Везде, всегда он помнит прежде всего о себе, только о себе; все, что делает, делает для себя. И на смотре, и в бою он самоутверждается; в этом не было бы особой опасности, если б не одно: когда человек думает только о себе, он непременно приносит беду и боль окружающим — мы еще увидим, как может быть жесток и бесчеловечен Долохов в своем непробиваемом эгоизме.

Нас не удивляет и поведение Жеркова, когда в разгар боя Багратион послал его с важным поручением к генералу левого фланга.

«Жерков бойко, не отнимая руки от фуражки, тронул лошадь и поскакал. Но едва только он отъехал от Багратиона, как силы изменили ему. *На него нашел непреодолимый страх, и он не мог ехать туда, где было опасно.*

Подъехав к войскам левого фланга, он поехал не вперед, где была стрельба, а стал отыскивать генерала и начальников там, где их не могло быть, и потому не передал приказания». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Приказание было — немедленно отступать. Из-за того, что Жерков не нашел генерала, французы отрезали русских гусар, многие были убиты и ранен товарищ Жеркова Ростов. Но некогда и непривычно было Жеркову думать о последствиях своего поведения, потому что думать о чем бы то ни было он не умел.

Здесь, в бою, мы встречаем и двух полковых командиров. Один — полковник, под чьим началом служат Ростов и Денисов, тот самый, кто так берег честь своего полка, что скрыл преступление Телянина. И второй — генерал, полковой командир Долохова и Тимохина, полагавший на смотре, что «лучше перекланяться, чем недокланяться». Оба они, профессиональные военные, ведут себя в бою так же, как в будничной обстановке: «В то самое время как на правом фланге давно уже шло дело

и французы уже начали наступление, оба начальника были заняты переговорами, которые имели целью оскорбить друг друга. Полки же, как кавалерийский, так и пехотный, были весьма мало приготовлены к предстоящему делу».

Они не трусы, эти люди, нет. Они только не умеют забыть во имя общего дела себя, свое самолюбие, свою карьеру, свои личные интересы, сколько бы громких слов они ни говорили о чести полка и как бы ни показывали свою заботу о полке. Приехав в цепь, оба начальника остановились под французскими пулями. «Генерал и полковник строго и значительно смотрели, как два петуха, готовящиеся к бою, друг на друга, напрасно выжидая признаков трусости. Оба выдержали экзамен. Так как говорить было нечего и ни тому, ни другому не хотелось подать повод другому сказать, что он первым выехал из-под пуль, они долго простояли бы там, взаимно испытывая храбрость...»

Долго простоять не пришлось: французы напали на их полки, оставалось одно — атаковать на неудобной местности; это грозило потерями, но иного выхода уже не было.

Читаешь об всем этом и думаешь: как же все-таки удалось небольшому отряду выполнить свою задачу и соединиться с армией Кутузова? И почему гораздо позднее Наполеон, сосланный на остров Святой Елены, вспоминая битву под Шенграбеном, сказал, что «несколько русских батальонов показали неустрашимость»?

Потому что русская армия состояла не только из полковых командиров и штабных франтиков, в ней были другие офицеры, в ней были солдаты, и этими «несколькими батальонами» командовал Багратион.

Из-за ошибки Мюрата французы и русские некоторое время стояли друг против друга, договорившись о перемирии на три дня и не веря в это перемирие. Но вот Мюрат получил грозное письмо Наполеона, угадавшего, что под Шенграбеном стоит не вся армия Кутузова, а лишь небольшой отряд, и приказавшего немедленно вступить в бой. Русские войска еще раскладывали костры, варили кашу, философствовали, когда «в воздухе послышался свист; ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее... Земля как будто ахнула от страшного удара».

«Началось! Вот оно!» — думал князь Андрей...

«Началось! Вот оно! Страшно и весело!» — говорило лицо каждого солдата и офицера.

Выражение: «Началось! Вот оно!» было даже и на крепком карем лице князя Багратиона с полузакрытыми, мутными, как будто невыспавшимися глазами».

По мнению Толстого, история идет вперед независимо от воли отдельных людей, называемых великими; ход истории складывается из поступков множества людей, которые невозможно направить, предугадать заранее, запланировать, и настоящий полководец не должен во время боя навязывать свою волю; он только наблюдает происходящее, а события движутся по воле истории.

Вот почему Толстой подчеркивает неподвижность лица Багратиона и его почти равнодушное отношение к докладам князя Андрея, которого удивляет, что «приказаний никаких отдаваемо не было, а что князь Багратион только старался делать вид, что все, что делалось по необходимости, случайности и воле частных начальников, что все это делалось хоть не по его приказанию, но согласно с его намерениями».

Толстой старается убедить нас в справедливости своей исторической теории, но сам же и разубеждает: он, севастопольский офицер, знает войну и пишет о ней с той мерой правды, которая неодолимо пробивается через его собственные теории.

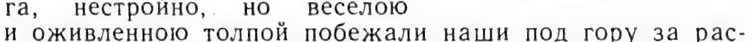
Если Багратион, не отдавая никаких приказаний, только подчиняется «необходимости, случайности и воле частных начальников», то почему тогда князю Андрею так радостно видеть на его неподвижном лице то же выражение, что и на лицах всех солдат и офицеров? Почему, заметив старую, каких теперь не носят, шпагу Багратиона, князь Андрей «вспомнил рассказ о том, как Суворов в Италии подарил свою шпагу Багратиону, и ему в эту минуту особенно приятно было это воспоминание»? Почему, наконец, «начальники, с расстроенными лицами подъезжавшие к князю Багратиону, становились спокойны, солдаты и офицеры весело приветствовали его и становились оживленнее в его присутствии»?

Потому что Толстой-художник опровергает философию Толстого. Вот как он описывает Багратиона в разгар сражения: «Лицо его выражало ту сосредоточенную и счастливую решимость, которая бывает у человека, готового в жаркий день броситься в воду и берущего последний разбег. Не было ни невыспавшихся, тусклых глаз, ни притворно глубокомысленного вида: круглые, твердые,

ястребиные глаза восторженно и несколько презрительно смотрели вперед...»

Если воля отдельного человека ничего не решает, то зачем Багратион, проговорив: «С богом!» и «слегка размахивая руками, неловким шагом кавалериста, как бы трудясь, пошел вперед по неровному полю» — и потом, оглянувшись, закричал: «Ура!»?

Затем, что этим он подал сигнал к атаке: «Обгоняя князя Багратиона и друг друга, нестройно, но веселою и оживленною толпой побежали наши под гору за расстроенными французами».



Князь Андрей, испытывая большое счастье, шел рядом с Багратионом, следом шли другие офицеры и солдаты, началась атака русских, и воля крепкого человека с темным лицом и ястребиными глазами стала волей истории.

13. Мужество

В первой же главе — точнее, в первой же фразе о войне 1805 года Толстой вполне отчетливо дал понять, что война эта не нужна ни австрийскому, ни русскому народу и тем отличается от будущей Отечественной войны 1812 года.

В учебнике истории мы читаем, что такие войны называются несправедливыми, в отличие от справедливых войн, когда народ встает на защиту своей родины.

Так почему же тогда нам все-таки важно знать, что и в этой войне наши предки с честью выдержали натиск французов, и горько нам будет читать о позоре Аустерлица, и мы так радуемся, узнав о мужестве русских солдат, признанном самим Наполеоном?

По многим причинам, и одна из них — та, что война 1805 года оказалась подготовкой, проверкой перед другой войной, когда речь шла о судьбе нашей родины. И еще потому, что существует понятие долга; оно может быть

недоступно Жеркову, но его знает Долохов, не говоря уж о князе Андрее и Денисове, и Багратионе, и тысячах людей, пришедших к Шенграбену с сознанием, что их долг — сражаться с французами на австрийской земле, поскольку они — солдаты и офицеры государства, вступившего в войну с Наполеоном.

И наконец, потому, что война 1805 года оказалась очень важным событием в жизни героев романа; каждый из них придет на этой войне к выводам, важным, казалось бы, только для него — но эти выводы важны и для Толстого, и для нас. Особенно это заметно, если задуматься о поведении Николая Ростова.

Первым «делом» Ростова была переправа через Энс, где он хотел одного: показать всем, и в особенности полковому командиру, которого он еще вчера собирался вызвать на дуэль из-за истории с Теляниным,— показать всем свою храбрость. Он боялся только отстать от солдат, быть незамеченным, не броситься в глаза своей храбростью. Опасности он еще не чувствовал, не понимал, бежал посреди моста и добился этим только сердитого окрика полкового командира.

Но потом, когда вокруг стали падать люди, а «рубить (как он всегда воображал себе сражение) было некого», Ростов вдруг увидел кровь и услышал стоны, и понял, что его тоже могут убить, и взмолился: «Господи боже! Тот, кто там, в этом небе, спаси, прости и защити меня!»

Ему стало нестерпимо стыдно. «Все кончилось; но я трус, да, я трус»,— подумал Ростов.

Нет, он не трус — уже потому, что боится быть трусом и стыдится своего страха, и хочет преодолеть его. Денисов и остальные понимают «то чувство, которое испытал в первый раз необстрелянный юнкер»,— каждый из них когда-то испытал то же самое...

В бою под Шенграбеном Ростов сначала чувствует уже знакомое ему напряженно-счастливое оживление, ему не терпится, он бросается вперед, ему становится все веселее и веселее...

«Ох, как я рубану его»,— думал Ростов.— «Ну, попадись теперь кто бы ни был...»

Но вот началась атака — лошадь под ним убита, и все солдаты уже впереди, а он один стоит посреди поля, рука его неподвижно повисла, навстречу ему бегут люди. «Они мне помогут!» — думает он и вдруг узнает в них французов.

Вот здесь в Ростове просыпается ужас. То, что он думает в эти страшные минуты, очень понятно: «Кто они? Зачем они бегут? Неужели ко мне? Неужели ко мне они бегут? И зачем? Убить меня? *Меня*, кого так любят все?» (Курсив Толстого.)

«Он схватил пистолет и, вместо того чтобы стрелять из него, бросил им в француза и побежал к кустам что было силы. Не с тем чувством сомнения и борьбы, с каким он ходил на Энский мост, бежал он, а с чувством зайца, убегающего от собак. Одно нераздельное чувство страха за свою молодую, счастливую жизнь владело всем его существом».

Так что же, на самом деле, он трус, хуже которого нет? Может быть, именно Николай Ростов, «с чувством зайца, убегающего от собак», несущийся к кустам, точнее всего покажет нам, что мужество не просто, что нельзя судить о человеке сплеча, с размаху... Мы увидим в следующих главах, как он станет храбрым офицером. Не сразу рождается мужество, и та простая схема, по которой хотел жить Ростов: беги, руби, весело, вперед, я не дипломат; ох, и рубану — эта простая схема неосуществима.

Потому что у человека и в самом деле одна жизнь; ему о ч е н ь жаль расставаться с ней, и чувство самосохранения, свойственное всему живому, сильно в каждом человеке. Так естественны мысли Ростова: м е н я убьют? «Меня, кого так любят все?» — и сам он любит себя, здорового, молодого, жаждущего жизни, веселья, любви...

Много позднее Ростов научится преодолевать и страх, и чувство самосохранения. Но уже сейчас он хочет, он старается быть смелым. Залогом его будущей храбрости станет короткая мысль: «Да, я трус». Если человек имеет мужество назвать себя трусом, то рано или поздно он преодолеет страх. Вот Жерков не анализирует своих поступков и ничего не стыдится, когда скачет что есть сил оттуда, где опасно.

В главах, рисующих Шенграбенскую битву, мы по-новому узнали всех, с кем были знакомы раньше. Но одного человека мы узнали здесь впервые.

Вот он сидит, сняв сапоги, в одних чулках, в палатке маркитанта — маленький, грязный и худой артиллерийский офицер, капитан Тушин. «Большими, умными и добрыми глазами» он смотрит на вошедших начальников, конечно, недовольных его видом, и пытается шутить:

«Солдаты говорят: разумшись ловчее»,— и смущается, чувствуя, что шутка не удалась.

Толстой делает все, чтобы капитан Тушин предстал перед нами в самом негероическом, даже смешном виде. И князь Андрей замечает в фигурке (даже не в фигуре) артиллериста «что-то особенное, совершенно не военное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное».

Но этот смешной человек окажется героем, и князь Андрей справедливо скажет о нем: «Успехом дня мы обязаны более всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой».

Когда Мюрат уже приказывает зарядить пушки, капитан Тушин, не подозревая об этом, сидит в балагане с офицерами и рассуждает о том, что ждет нас после смерти. Князь Андрей, проезжая мимо, останавливается, потому что «звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться». Этот тон определяет, конечно, Тушин с его приятным голосом, с его манерой называть собеседника голубчиком. И вот что он говорит: «Коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся... *А все боишься*... Боишься неизвестности, вот чего. Как там ни говори, что душа на небо пойдет... ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна». (Курсив мой. — *Н. Д.*)

Этот разговор не был закончен: «в воздухе послышался свист...» Началось сражение, и первым выскочил из балагана капитан Тушин.

В бою он выглядит так же негероически, как до боя. «*Небольшой сутуловатый* человек, офицер Тушин, *спотыкнувшись на хобот,* выбежал вперед, не замечая генерала и *выглядывая из-под маленькой ручки*.

— Еще две линии прибавь, как раз так будет,— закричал он *тоненьким голоском*...— Второе,— пропищал он.— Круши, Медведев!

Багратион окликнул офицера, и Тушин, *робким и неловким движением,* совсем не так, как салютуют военные, а *так, как благословляют священники,* приложив три пальца к козырьку, подошел к генералу». (Курсив мой. — *Н. Д.*)

Но этот маленький спотыкающийся человек, поразмышляв о бое так же, как он размышлял о смерти, «посоветовавшись с своим фельдфебелем Захарченком, к которому имел большое уважение, решил, что хорошо было

бы зажечь деревню», и зажег ее, и именно это остановило французов.

Пока два полковых командира показывали друг другу свою храбрость, пока Жерков искал генерала там, где его не могло быть, пока Долохов призывал начальника «попомнить» его подвиги, капитан Тушин, «оглушаемый беспрерывными выстрелами, *заставлявшими его каждый раз вздрагивать*... бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды... и покрикивал своим *слабым, тоненьким, нерешительным голоском*... солдаты, большею частью красивые молодцы (как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера...), все, как дети... смотрели на своего командира, и то выра-



жение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Тушин в бою нисколько не меняется: он по-прежнему склонен размышлять, движения его неловки, он вздрагивает от звуков выстрелов, но здесь его мысли приобретают другой характер.

Он уже не думает о смерти: «мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову». Но «у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту».

Французские пушки представляются ему трубками, снаряды — мячиками, французы — муравьями; свою большую пушку он называет Матвеевной, а самого себя он видит «огромного роста, мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра».

Так что же такое героизм и что это значит: мужество, если героем оказывается маленький, пугливый, слабый человек, только воображающий себя сильным мужчиной?

Толстой прошел осаду Севастополя и знал войну. Он знал: те лгут, кто говорит, что ничего не боится. Боятся все, но не все умеют победить свой страх, а мужество в том и заключается, чтобы, вздрагивая от выстрелов, не бежать оттуда, где опасно, но делать свое дело.

Всегда очень обидно читать, как накидывается на Тушина штаб-офицер, добравшийся, наконец, до него с приказом отступать: «Что вы, с ума сошли?..» Не потому обидно, что он кричит на Тушина, а потому, что Тушин пугается его и не может победить э т о г о своего страха.

«Ну, за что они меня?..— думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника.

— Я... ничего...— проговорил он, приставляя два пальца к козырьку.— Я...»

К счастью, в это время близко пролетело ядро, штаб-офицер поворотил лошадь и поскакал прочь, а вместо него приехал князь Андрей. «Он передал приказание и не уехал с батареи».

Тушин вздрагивает от выстрелов — и делает свое дело. Князь Андрей тоже «почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. *Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его.* «Я не могу бояться»,— подумал он и медленно слез с лошади между орудиями». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Они очень разные, Тушин и князь Болконский. В мирной жизни между ними нет ничего общего, и гордый

князь, может быть, не снизошел бы до разговора с артиллерийским капитаном, да и негде было бы им встретиться. Но здесь, сведенные вместе войной, они молча делают свое дело: «Оба были так заняты, что, казалось, и не видели друг друга». Здесь они похожи тем главным, чего требует война от человека, осознанной князем Андреем и не осознанной Тушиным мыслью: «Я не могу бояться», умением победить свой страх.

И Тушин чувствут это единство. Когда все кончилось и князь Андрей протянул ему руку, Тушин говорит те же слова, какие сказал бы своему фельдфебелю Захарченко.

«— До свидания, голубчик,— сказал Тушин,— милая душа! прощайте, голубчик,— сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза».

Слезы эти понятны. Кончился взлет страшного напряжения, кончился е г о Тулон, больше не нужно быть героем, и он опять превратился в маленького робкого человека.

Таким он и стоит перед Багратионом в тесной избе, где собралось все начальство; на бедного капитана устремлено столько глаз — немудрено, что он споткнулся о древко взятого сегодня французского знамени и вызвал смех, причем «громче всех слышался голос Жеркова».

Читать эту сцену горько, и стыдно, и страшно: почему же так? Почему трус Жерков сидит здесь и смеется громче всех, а герой Тушин, дрожа, стоит перед Багратионом, едва имея силы выговорить: «Не знаю... ваше сиятельство... людей не было, ваше сиятельство».

Невольно вспоминается еще один герой Шенграбенского сражения, знакомый нам со смотра в Браунау. Здесь он появился в ту самую минуту, когда солдаты поддались панике и побежали...

«Все казалось потеряно. Но в эту минуту французы, наступавшие на наших, вдруг, без видимой причины, побежали назад, скрылись из опушки леса, и в лесу показались русские стрелки. Это была рота Тимохина, которая одна в лесу удержалась в порядке и, засев в канаву у леса, неожиданно атаковала французов. *Тимохин с таким отчаянным криком бросился на французов и с такою безумною и пьяною решительностью, с одной шпажкой, набежал на неприятеля, что французы, не успев опомниться, побросали оружие и побежали».* (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Только благодаря Тимохину русские имели время опомниться: «Бегущие возвратились, батальоны собрались...»

Так вел себя в бою тот самый Тимохин, который на смотре в Браунау «все больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасение».

Так что же такое мужество, если храбрец, которого еще с Измаила запомнил Кутузов, оставаясь храбрецом в бою, вытягивается перед начальством, дрожа от страха, а капитан Тушин, не думавший об опасности под вражескими ядрами, теряет дар речи, стоя перед Багратионом?

Мужество разнообразно. И есть немало людей, безудержно храбрых в бою, теряющих свою храбрость в будничной жизни. Их поведение не всегда можно назвать трусостью; тут другое. На поле боя человек з н а е т, как он должен себя вести и что от него требуется. В обычной жизни случается иное: именно то, что человек д о л ж е н сделать, повинуясь своей совести, может вызвать недовольство других людей. Вот чье мужество в бою и в штабе одинаково — это князь Андрей. Он и здесь может приказать себе: «Я не могу бояться»; он одно знает: как отступить в бою, так и промолчать перед начальством — значит унизить свое человеческое достоинство, потому и заступается за Тушина.

«— Вот спасибо, выручил, голубчик,— сказал ему Тушин», и князю Андрею стало грустно и тяжело, как грустно и тяжело было нам читать о вызове Тушина к Багратиону.

Мы еще раз встретимся с Тушиным в госпитале, где он выйдет нам навстречу с пустым рукавом, потому что потеряет руку в одной из следующих битв. Больше мы уже не увидим его на страницах романа, но навсегда запомним то, чему он научил нас: если хочешь стать храбрым, задача не в том, чтобы не бояться. Нужно только знать: бояться с т ы д н о, на это я не имею права; я должен преодолеть свой страх, я н е м о г у поступить иначе. Вот эта невозможность поступить иначе и называется мужеством.

14. Старики

Ничто не может изменить спокойной, деятельной и размеренной жизни старого княжеского дома в Лысых Горах. «Те же часы, и по аллеям прогулки... Станок...»

И, как всегда, рано утром величественный маленький старик в «бархатной шубке с собольим воротником и такой же шапке» выходит гулять по свежему снегу.

Он стар, князь Болконский, он заслужил этот покой, эту расчисленную, им самим составленную жизнь. Но не нужно думать, что старики только и мечтают о покое. Разные бывают старики, как разные молодые; и кто знает, о чем думает Николай Андреевич, читая ежедневные письма сына, не рвется ли он всем сердцем туда, на австрийские поля, не вспоминает ли великого Суворова, не мечтает ли о *своем* Тулоне,— он стар, но он жив, и полон душевных сил.

Душевных, но не физических. Приходится смиряться с тем, что не можешь легко, как прежде, вскочить на коня и скакать под пулями наперерез врагу. Приходится смиряться с тем, что мысль работает не так быстро, как раньше, и убывают силы, и нет тебе места там, где прежде без тебя казалось невозможно...

Он потому и труден, этот старик, что не может — как ни старается — примириться со своей беспомощностью. Но, сколько есть сил, он будет полезен. России — вот его записки, в них его опыт, его ум, его знания. Сыну — он все знает о войне, куда ушел сын; он еще может дать совет, оградить и подсказать, и направить. Дочери — как сложится ее судьба; ведь, к несчастью, все они выходят замуж, и ее не минует, но он не отдаст дочь первому светскому шаркуну; он на страже — и сам себе не признается никогда, что *никому* не хочет отдать дочь, что не может представить без нее своей стариковской, наполненной полезными делами, но одинокой жизни.

Давно, когда он был молод, силен и деятелен, среди многих радостей, заполнявших его жизнь, были дети: Андрюша и Маша для матери; уже тогда — князь Андрей и княжна Марья для него. Они были маленькие и принадлежали ему; он воспитывал их, как понимал; хотел вырастить сына умным, благородным, счастливым, а девочку — не такой, как светские барышни,— прекрасной женщиной, может быть, он мечтал о такой женщине и не встретил ее, и в дочери хочет видеть ее черты.

Сын вырос красивым, умным и честным, но это не сделало его счастливым. Он ушел в непонятную жизнь с неприятной женщиной — что остается отцу? Пытаться понять сына и заботиться о его жене; но не так все это мечталось когда-то, когда он был молод, здоров и силен.

Дочь выросла некрасивая! Никто не понимает, как это больно старику; потому он и может ударить княжну Марью по самому уязвимому: «уродовать себя нечего — и так дурна»; ему самому больно, разве они могут понять это!

Будь дочь красива, кто-то полюбил бы ее, а теперь... посватаются, найдут и в Лысых Горах, но найдут не дочь, а его богатство, его знатный род — и вот уже едут, а она ждет, волнуется; это оскорбляет и ранит старика. Вот почему он не в духе с утра в тот день, когда должен приехать князь Василий с сыном. Вот почему, услышав, что Алпатыч приказал расчистить для них дорогу, приходит в бешенство:

«— Что? Министр? Какой министр? Кто велел? — заговорил он своим пронзительно-жестким голосом.— Для княжны, моей дочери, не расчистили, а для министра! У меня нет министров!»

Ему стыдно, что он поднял палку на старого Алпатыча, в глубине души он рад, что Алпатыч уклонился от удара, но все продолжает кричать: «Прохвосты!... закидать дорогу!» — потому что он, этот властный человек, в отчаянии от своей беспомощности перед той ненавистной силой, которая врывается в его жизнь.

Он все знает, старый князь Болконский, но вряд ли он знает о том, что почти ровесник его князь Василий Курагин тоже плохо спит ночами и болеет душой за своих детей, что он тоже думает, мучается, тоскует и не знает, как помочь, направить, как уберечь; только для него в понятии счастья иной смысл, чем для князя Болконского.

Не знает Николай Андреевич, как много сил стоила князю Василию пышная свадьба дочери Элен — нынешней графини Безуховой; как, бросив все дела, он опекал и направлял непутевого Пьера, пристроил его в камер-юнкеры, поселил в своем доме, и когда неблагодарный Пьер так и не сделал предложения, князь Василий опять взвалил все на свои плечи, решительно благословил Пьера и Элен, хотя они не спрашивали благословения.

Элен пристроена. Ипполит, слава богу, в дипломатах, в Австрии — вне опасности; но остается младший, Анатоль, с его беспутствами, долгами, пьянством; возникла мысль женить его на княжне Болконской — лучшего и желать нельзя, но удастся ли, ведь старик Болконский крутенек и любит дочь. А чем плох Анатоль — красавец и хорошей фамилии...

Так встречаются два старика, страшась друг друга. Очень разные люди, потому что старость — естественное завершение длинной человеческой жизни; для обоих она полна сожалений об ушедшей молодости, но один накопил к старости мудрость и душевный опыт, другой растратил все — осталась одна суетность: влияние в свете, деньги, заботы, унижения — вот и поездка эта грозит унизительным отказом, но надо ехать, суетиться и притворяться...

А в доме Болконских — волненье: приехал красивый молодой мужчина. Княгиня Лиза приоделась, и мамзель Бурьен прибавила какую-то ленточку к своему наряду, и обе они от чистого сердца хотят принарядить княжну Марью, но бедняжка так нехороша!

Это-то старый князь понимает. Он все увидел: платье Лизы, ленточку Бурьен и, главное, «одиночество своей княжны в общем разговоре».

Он растил дочь, он ее учил и воспитывал; он хотел сделать ее умной, образованной — потому так и сердился, когда она не понимала геометрии. И он любит ее, видит за этим некрасивым лицом ее доброту и благородство; он-то знает, как бывают прекрасны ее лучистые глаза,— кто достоин этой души, этих глаз? Что они, эти, могут видеть в *его* княжне? Богатую дурнушку? Эта мысль нестерпима.

Всегда отцу тяжело отдавать дочь — тяжелей, чем матери. Мать вспоминает свою молодость и как бы заново переживает ее; отец видит только свою потерю — уходит, уходит дочь к чужому и всегда неприятному мужчине. Даже в хорошем юноше находятся неоспоримые недостатки. Но этот!

«— Что ж, хотите, мой милый, послужить царю и отечеству? Время военное. Такому молодцу служить надо, служить надо. Что ж, во фронте?

— Нет, князь. Полк наш выступил. А я числюсь. При чем я числюсь, папа? — обратился Анатоль со смехом к отцу.

— Славно служит, славно. При чем я числюсь! Ха-ха-ха! — засмеялся князь Николай Андреевич».

И ведь нельзя выгнать! Прямо сказать: уезжайте, скатертью дорога, позвать Алпатыча, приказать снова расчистить нарочно закиданный снегом «прешпект» — пусть катят восвояси дорогие гости... Нужно сдерживаться, говорить с князем Василием: «Что ж ты думаешь...



что я ее держу, не могу расстаться? Вообразят себе!.. Мне хоть завтра!» Нужно звать дочь и объявлять ей о предложении — а она еще и согласиться может, ведь гордости у нее нет: «первый встречный показался — и отец и все забыто, и бежит, кверху чешется и хвостом винтит, и сама на себя не похожа! Рада бросить отца!»

«Бедная княжна Марья! — думаем мы в молодости.— Как он ее мучит, злой старик!» И никто не подумает: «Бедный старик! Каково ему все понимать и видеть, что дочь готова полюбить этого Анатоля, уже мечтает о нем и надеется быть счастливой — с ним?!»

Да, отец на страже, и он пускает в ход любое оружие.

«— И прекрасно! — закричал он.— Он тебя возьмет с приданым да кстати захватит mademoiselle Bourienne. Та будет женой, а ты...

Князь остановился. Он заметил впечатление, произведенное этими словами на дочь. Она опустила голову и собиралась плакать.

— Ну, ну, шучу, шучу-— сказал он.— Помни одно, княжна: я держусь тех правил, что девица имеет полное право выбирать. И даю тебе свободу. Помни одно: от твоего решения зависит счастье жизни твоей. Обо мне нечего говорить».

Он переламывает себя, свой властный нрав, подчиняясь им же избранным правилам, но как тяжело это ему, как он уязвим в своей любви к дочери!

На этот раз пронесло. Опасность миновала. Князь Николай Андреевич не знает, что заставило дочь отказать Анатолю. Ему неизвестно, что его намек на Бурьен получил подтверждение, княжна Марья своими глазами видела, как в зимнем саду Анатоль обнимал Бурьен, и уж никак он не может себе представить, какое романтическое здание воздвигнет в своем воображении его дочь: «Чего бы мне это ни стоило, я сделаю счастье бедной Amélie. Она так страстно его любит. Она так страстно раскаивается. Я все сделаю, чтоб устроить ее брак с ним. Ежели он

не богат, я дам ей средства, я попрошу отца, попрошу Андрея. Я так буду счастлива, когда она будет его женою...»

Если бы князь Николай Андреевич знал, о чем думает княжна Марья, отказывая жениху, он закричал бы: «Вздор! Все вздор!» — и был бы прав.

Но хотя он не знает мыслей дочери, главное он понял: девочка выросла, стала богатой невестой; он научил ее геометрии, воспитал доброй и благородной, но от этого ей только труднее будет жить. Что она знает о людях, что понимает в жизни? Он, со своим стремлением сделать детей правдивыми и честными, он сам воспитал Андрея безоружным против княгини Лизы, а Марью — против князя Василия. Сегодня он жив и уберег дочь, а завтра? А если его уж не будет, когда приедет свататься еще один Анатоль?

И вновь оживший, усиливающийся страх за дочь охватит князя. Теперь он не оставит его никогда, до смерти, потому что хуже всего, страшнее всего — сознание, что уже ничем не можешь помочь тем, кого любишь, что ты — какой ни веди размеренный образ жизни — стар и бессилен.

15. Накануне...

А в Москве — свои горести, свои радости: Ростовы получили письмо от Николушки. Старый граф рыдает и вместе смеется; Наташа в восторге, Соня бледнеет и слышит только: он был ранен, Наташа утешает ее; Петя гордится братом, получившим орден за участие в сражении.

Графине нельзя так, сразу, вдруг сообщить известие, ее нужно подготовить — это делает Анна Михайловна Друбецкая, незаменимый друг,— и она же находит способ послать Николаю письма и деньги на адрес Бориса, чтобы они дошли верно и быстро.

И вот Николай Ростов врывается в чистую квартиру, занимаемую Борисом Друбецким вместе с Бергом.

«— А вы, полотеры проклятые! Чистенькие, свеженькие, точно с гулянья, не то, что мы грешные, армейщина,— говорил Ростов с новыми для Бориса баритонными звуками в голосе и армейскими ухватками...»

На затасканной куртке Ростова — новенький Георгиевский крест за Шенграбен. И свою подвязанную руку он показывает с гордостью...

Встретились друзья детства — всего полгода, как они расстались. Но полгода — огромный срок для людей их возраста, и оба они не только изменились, но стали чужими друг другу. На все, о чем ни заходит разговор, они смотрят по-разному. Николай, скомкав, бросает под стол рекомендательное письмо к Багратиону; о службе адъютанта он отзывается: «Лакейская должность!»; о Берге спрашивает с презрительной улыбкой: «Ну, что эта немчура?» — и только услышав ответ Бориса: «Очень, очень хороший, честный и приятный человек», понимает, что друг детства думает иначе, чем он.

Ростовы — все — живут не головой, а сердцем. Когда Николай в начале Шенграбенской битвы думал: «Ну, попадись теперь кто бы ни был» — и когда позже он бежал к кустам, он оставался сыном своей семьи, живущей по законам чувства. Это добрая и честная семья, поэтому Николай преодолеет дурное в себе, но много еще предстоит ему ошибаться.

Вот и сейчас, в этом разговоре с другом детства, он, конечно, не стал бы хвастаться, но Борис спросил, где и как Ростов был ранен.

«Ростов был правдивый молодой человек, *он ни за что умышленно не сказал бы неправды*. Он начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было, но *незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду*... Они ждали рассказа о том, как горел он весь в огне, сам себя не помня, как бурею налетел на каре; как врубался в него... И он рассказал им все это» (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Борис и Берг доброжелательно слушали неправду, которую рассказывал Ростов,— каждый из них в подобном случае тоже приврал бы. Но «в середине его рассказа... в комнату вошел князь Андрей Болконский».

Как бы мы расставили силы в этой сцене? Перед нами четыре человека: Берг, Борис, Николай Ростов и князь Андрей. Конечно, Ростов и Болконский — очень разные люди, но главное у них общее: оба пошли на войну не за крестиками. Естественно было бы им объединиться против штабных франтиков Берга и Друбецкого.

Все складывается наоборот. Князь Андрей з н а е т, он был при Шенграбене. Он видит, что Ростов лжет,

и это ему отвратительно. Борис, со своим талантом приспосабливаться к людям, мгновенно присоединяется к Болконскому. Все забыто: детская дружба, близость семей — Борису важно только не уронить себя в глазах князя Андрея дружбой с Ростовым. Один Берг — в стороне: ему все это неинтересно; он, «как и обыкновенно, молчал, когда дело касалось не лично его».

Ростов в этой сцене — завравшийся мальчишка, пристыженный, мучимый поздним раскаянием. Самолюбие его уязвлено, ему представляется один выход — вызвать на дуэль гордого «штабного молодчика». Но князь Андрей холодно и презрительно отвергает его. Он, как всегда, спокойно-рассудителен и умен — но, презирая Ростова за его вранье, он покровительствует Друбецкому — человеку гораздо более лживому!

Ростов так молод, так неопытен, что мы невольно прощаем ему и трусость в бою, и похвальбу перед Борисом. Князь Андрей — другое. Для нас, как и для Пьера, он — образец всех совершенств, он не должен ошибаться. А он не может понять, что в этой чистой комнате ему ближе других Ростов, что не нужно улыбаться Борису Друбецкому.

Ошибки его неизбежны: через многое нужно пройти человеку, чтобы стать мудрым, но и его мудрый отец будет неправ в своей ненависти к Наташе. Никогда не ошибается только Берг, потому что полон собой и другие люди его не интересуют.

А война, между тем, в разгаре — и приближается сражение, память о котором тяжким стыдом ляжет на седую голову Кутузова и на юный лоб Ростова, и на честь всей русской армии.

Может быть, не случайно Толстой именно перед этим сражением показал суетные переживания Ростова и ошибку князя Андрея. Оба они так человечны в своих слабостях, но именно эти человеческие слабости помогут нам понять то, что надвигается на них: позор Аустерлица.

Немногие люди могут вынести на своих плечах тяжкую ношу всепонимания. Таков Кутузов — он один имеет мужество видеть правду: русская армия не готова к решающему сражению с Наполеоном. Но его горькая правда никому не нужна: все окружающие его люди полны одушевления и надежд.

Вот идет смотр русских и австрийских войск — смотр, на котором Ростов, как и вся армия, впервые увидел

«прекрасное, молодое и счастливое» лицо императора Александра, услышал его «молодой, ласковый голос»; смотр, после которого все «были уверены в победе больше, чем бы могли быть после двух выигранных сражений».

Император Александр — тот самый человек, который нужен, необходим сейчас почти всем офицерам, чтобы не видеть того, что видит Кутузов, чтобы вопреки правде надеяться на победу, верить в нее.

Толстой не издевается над царем; он старается понять — и нас заставляет понять: царь всего только виновен в том же, в чем многие его офицеры: он занят собой, любуется собой, погружен в себя и не хочет видеть правды.

Но и царь расплатится за свою слабость. Многие из его офицеров заплатят жизнью за свои ошибки накануне Аустерлица, царь заплатит тяжелым стыдом. История не прощает людям, когда они поддаются чувству общего обожания, обожествления и под влиянием окружающих сами начинают видеть в себе полубогов.

Один только Кутузов понимает весь трагизм предстоящего сражения и знает, что оно будет проиграно, и просит передать это государю. Но кто будет слушать старого главнокомандующего, повторяющего неприятные речи? Кому интересен этот старик, когда во главе своих войск стоит сам обожаемый молодой император? Одни мечтают «умереть за него», другие хотят отличиться, третьи — выдвинуться и получить награду, четвертые надеются на победу русских войск просто потому, что надо же на что-то надеяться, а час Аустерлица приближается, он неминуем.

16. Небо Аустерлица

На военный совет перед Аустерлицким сражением собрались все начальники колонн, «за исключением князя Багратиона, который отказался приехать». Толстой не объясняет причин, побудивших Багратиона не явиться на совет, они и так ясны. Понимая неизбежность поражения, Багратион не хотел участвовать в бессмысленном военном совете. Но остальные русские и австрийские генералы полны той же беспричинной надежды на победу, какая охватила всю армию. Только Кутузов сидит на совете недовольный, не разделяя общего настроения.

Австрийский генерал Вейротер, в чьи руки отдано полное распоряжение будущим сражением, составил длинную и сложную диспозицию — план предстоящего боя. Вейротер взволнован, оживлен. «Он был как запряженная лошадь, разбежавшаяся с возом под гору. Он ли вез или его гнало, он не знал; но он несся во всю возможную быстроту, не имея времени уже обсуждать того, к чему поведет это движение».

Позднее, во время боя, когда начнется паника, русские солдаты станут проклинать австрийцев, считая их трусами и изменниками, но это будет несправедливо.

Вейротер не трус и не изменник: он ждал этого дня, как князь Андрей — своего Тулона. Он не думает ни о чем, кроме боя, верит в победу, убежден в своей правоте и не жалеет сил, чтобы доказать ее.

На военном совете каждый из генералов убежден в своей правоте. Все они так же озабочены самоутверждением, как юнкер Ростов в квартире Друбецкого. Вейротер читает свою диспозицию, французский эмигрант Ланжерон возражает ему — возражает справедливо, но «цель этих возражений состояла преимущественно в желании дать почувствовать генералу Вейротеру... что он имел дело не с одними дураками, а с людьми, которые могли и его поучить в военном деле».

На совете происходит столкновение не мнений, а самолюбий. Генералы, каждый из которых убежден в своей правоте, не могут ни сговориться между собой, ни уступить один другому. Казалось бы, естественная человеческая слабость, но принесет она большую беду, потому что никто не хочет видеть и слышать правду.

Поэтому бессмысленна попытка князя Андрея выразить свои сомнения. Поэтому Кутузов на совете не притворялся — «он действительно спал», с усилием открывая свой единственный глаз «на звук голоса Вейротера». Поэтому в конце совета он коротко сказал, что диспозиция уже не может быть отменена, и отослал всех.

Понятно недоумение князя Андрея. Его ум и уже накопленный военный опыт подсказывают: быть беде. Но почему Кутузов не высказал своего мнения царю? «Неужели из-за придворных и личных соображений должно рисковать десятками тысяч и моей, *моей* жизнью?» (курсив Толстого) — думает князь Андрей.

В нем говорит сейчас то же чувство, с которым Николай Ростов в Шенграбенской битве бежал к кустам:

«Убить меня? *Меня*, кого так любят все!» (Курсив Толстого.)

Но разрешаются эти мысли и чувства князя Андрея иначе, чем у Ростова: он не только не бежит от опасности, но идет к ней навстречу: «Завтра, может быть, все будет кончено для меня... Завтра же, может быть,— даже наверное завтра, я это предчувствую, в первый раз мне придется, наконец, показать все то, что я смогу сделать».

А в самом деле, разве молодой, полный сил, талантливый человек должен рисковать своей жизнью потому, что генерал союзной армии составил неудачный план сражения или потому, что русский царь молод, самолюбив и плохо понимает военную науку? Может, на самом-то деле вовсе не нужно князю Андрею идти в бой, обреченность которого ему уже ясна, а нужно поберечь себя, свою жизнь, свою личность?

Мы уже говорили о том, что князь Андрей не мог бы жить, если бы перестал уважать себя, если бы унизил свое достоинство. Но, кроме того, в нем есть тщеславие, в нем живет еще мальчик, юноша, который перед сражением заносится мечтами далеко: «И вот та счастливая минута, тот Тулон, которого так долго ждал он... Он твердо и ясно говорит свое мнение... Все поражены... и вот он берет полк, дивизию... Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он...»

Четверть века назад статный красавец князь Николай Болконский под Чесмой или Измаилом мечтал о том, как наступает решительный час, Потемкин сменяется, назначается он...

А через пятнадцать лет худенький мальчик с тонкой шеей, сын князя Андрея, увидит во сне войско, впереди которого он идет рядом с отцом, и, проснувшись, даст себе клятву: «Все узнают, все полюбят меня, все восхитятся мною... я сделаю то, чем бы даже он был доволен...» (Он — это отец, князь Андрей.)

Болконские тщеславны, но мечты их — не о наградах: «Хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими...» — думает князь Андрей перед Аустерлицем.

А люди не знают, что князь Андрей готов совершить для них, ради их любви. Мечты его прерываются голосами солдат:

«— Тит, а Тит?

— Ну,— отвечал старик.



— Тит, ступай молотить...

— Тьфу, ну те к черту...»

У солдат идет своя жизнь — с шутками, с горестями, и нет им дела до князя Андрея, но он все равно хочет быть любимым ими.

Ростов, влюбленный в царя, мечтает о своем: встретить обожаемого императора, доказать ему свою преданность. Но встречает он Багратиона и вызывается проверить, стоят ли французские стрелки там, где вчера стояли. «Багратион закричал ему с горы, чтобы он не ездил дальше ручья, но Ростов сделал вид, как будто не слыхал его слов, и, не останавливаясь, ехал дальше и дальше...» Над ним жужжат пули, в тумане раздаются выстрелы, но в душе его уже нет страха, владевшего им при Шенграбене.

Так прошла ночь перед сражением — каждый думал о своем. Но вот наступило утро, и двинулись войска, и, несмотря на то, что вышли солдаты в веселом настроении, внезапно и необъяснимо «по рядам пронеслось неприятное сознание совершающегося беспорядка и бестолковщины». Возникло оно потому, что это сознание было у офицеров и передалось солдатам, а офицеры вынесли это сознание бестолковщины из вчерашнего военного совета. Так начало осуществляться то, что предвидел Кутузов.

Но в ту самую минуту, когда русскими войсками овладело уныние, появился император Александр со свитой: «Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый кутузовский штаб молодостью, энер-

гией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи». Все оживились, кроме Кутузова.

«Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека» и говорил с императором, «почтительно нагнув голову», но он еще пытался медлить, пытался предотвратить неминуемое.

«— Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? — поспешно обратился император Александр к Кутузову...

— Я поджидаю, ваше величество... Не все колонны еще собрались, ваше величество...

— Ведь мы не на Царицыном Лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки, — сказал государь...

— Потому и не начинаю, государь,— сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что-то дрогнуло.— Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном Лугу,— выговорил он ясно и отчетливо».

Так говорить с царем нельзя. Кутузов знает это, и вся свита знает: «на всех лицах... выразился ропот и упрек». Но это последняя попытка Кутузова предотвратить то, что сейчас произойдет.

Так кто же виноват в поражении под Аустерлицем? Царь Александр I, не умеющий различить парад и войну, взявшийся руководить боем, не понимая в военном деле? Да, конечно, царь виноват прежде и больше всех. Но легче всего свалить вину за все ошибки и неудачи на государственных деятелей. На самом же деле за все, что происходит, отвечаем мы все — люди, и ответственность наша не меньше от того, что царь или полководец виноват больше нашего.

Как грядущая победа в Отечественной войне 1812 года будет вовсе не победой Александра I — как бы высоко ни вознесся памятник ему на Дворцовой площади в Петербурге,— это победа всего нашего народа; так же позор Аустерлица был позором не только для царя. Кутузов знает это, и Болконский знает, каждый из них стремится, сколько может, избавить себя от предстоящих мучений совести... Но царь молча смотрит в глаза Кутузову, и молчание затягивается, и Кутузов знает, что он не властен изменить желание царя.

«— Впрочем, если прикажете, ваше величество,— сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на

прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.

Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению».

Все, что произошло дальше, свершилось быстро. Не успели русские войска пройти полверсты, как столкнулись с французами. «Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг неожиданно перед нами».

Князь Андрей, увидев это, понял, что наступил его час. Он подъехал к Кутузову... «Но в тот же миг все застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «Ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу все бросились бежать».

Бегство было так страшно, так чудовищно, что даже Кутузов — единственный человек, еще вчера понимавший обреченность русских и австрийцев в этом сражении,— даже Кутузов был потрясен.

«Несвицкий, с озлобленным видом, красный и на себя непохожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.

— Вы ранены? — спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.

— Рана не здесь, а вот где! — сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих.

— Остановите же их! — крикнул он и в то же время, вероятно убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо. Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад».

Среди полного безумия, охватившего всех, князь Андрей Болконский делает то, что задумал еще перед боем.

«— Ребята, вперед! — крикнул он детски-пронзительно.

«Вот оно!» — думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало.

— Ура! — закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.

И действительно, он пробежал один только несколько шагов».

Подвиг князя Андрея не мог изменить хода сражения. Когда молодой Наполеон Бонапарт взбежал со знаменем на Аркольский мост, за ним шли солдаты, только на мгновение заколебавшиеся. При Аустерлице дело было не в минутном колебании — исход боя был предрешен.

Может быть, князь Андрей даже и понимал это, бросаясь вперед со знаменем в руках. Он ведь еще вчера думал, что этот день принесет ему гибель. Но он не мог поступить иначе: единственный способ избавиться от стыда, от своего личного позора был для него в том, чтобы остаться честным и мужественным, когда все бегут.

Кутузов понял это. Позже, когда все кончилось, он писал отцу князя Андрея: «Ваш сын, в моих глазах... с знаменем в руках, впереди полка пал героем, достойным своего отца и своего отечества».

Описывая подвиг князя Андрея, Толстой не произнесет ни одного возвышенного слова — эти слова возникнут только в письме Кутузова, от его лица. А сам автор пишет о происходящем нарочито просто, подчеркивая тяжесть знамени, которое князю Андрею так трудно удержать, что в конце концов он уже бежал, «волоча его за древко», и ранение князя Андрея происходит вовсе не величественно: «Как бы со всего размаха крепкою палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову».

Это — война, как ее видит Толстой, с кровью и грязью, с болью и страданиями; война без прикрас; и самого благородного, возвышенного человека она грубо бьет, как палкой, он падает на спину и ничего уже не видит над собой, «кроме неба,— высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками». А на правом фланге Багратион делает в это время то, что не удалось сделать Кутузову вблизи царя,— оттягивает время, чтобы сохранить свой отряд. Он посылает Ростова найти Кутузова (а Николай мечтает — царя) и спросить, пора ли вступать в бой правому флангу. Багратион надеялся, что посланный вернется не раньше вечера...

До сих пор мы видели битву глазами князя Андрея, который с горечью понимал, что происходило перед ним. Теперь Толстой передает наблюдательную позицию ничего не понимающему, восторженному Ростову.

Отправившись разыскивать Кутузова «в том расположении духа, в котором все кажется легко, весело и возможно», он и представить себе не мог, что на левом фланге все бегут. Он «ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось», и поддерживал в себе бодрость одной мыслью, очень для него характерной: «Уж как это там будет, не знаю, а все будет хорошо!»

Навстречу ему скачут кавалеристы — в атаку на французов, и Борис Друбецкой встречается ему, счастливо оживленный участием в атаке... И Берг останавливает Ростова фантастически нелепым рассказом о том, как он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую: «В нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари...»

Но Ростов уже чувствует безумие происходящего. Как ни мало он опытен, но, услышав «впереди себя и позади наших войск... близкую ружейную стрельбу», думает: «Неприятель в тылу наших войск? Не может быть...»

Вот здесь-то в Ростове просыпается мужество. «Что бы это ни было, однако,— подумал он,— теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и *ежели все погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе*». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Не знает князь Андрей, лежащий под высоким небом, что хвастливый юнкер, так раздражавший его своими рассказами, пришел к тем же мыслям, какие заставили его выйти вперед со знаменем.

«Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют».

Ему жалко себя — как было жалко при Шенграбене. Он думает о матери, вспоминает ее последнее письмо и жалеет себя за нее... Но все это — иначе, не так, как было при Шенграбене, потому что он научился, слыша свой страх, не слушаться его. Он все едет вперед, «уж не надеясь найти кого-нибудь, но для того только, чтобы перед самим собою очистить свою совесть», и внезапно видит своего обожаемого императора — одного, среди пустого поля, и не осмеливается подъехать. Да и в самом деле, о чем теперь спрашивать, когда день идет к вечеру, армия разбита, и только отряд Багратиона сохранен благодаря разумной хитрости его командующего.

В эту горькую минуту Ростов встречает повозки Кутузова. Как давно, кажется (вчера!), князь Андрей встретил тех же солдат и услышал тот же разговор:

«— Тит, а Тит! — сказал берейтор.

— Чего? — рассеянно отвечал старик.

— Тит! Ступай молотить.

— Э, дурак, тьфу! — сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка».

Зачем Толстой дважды — перед началом боя и в конце его — повторяет нелепую шутку кутузовского кучера? Затем ли, чтобы показать, как далека от солдат эта война, на которой они гибнут, не понимая ее смысла? Или — потому, что, пока люди живы, они сохраняют способность шутить? Или есть у него еще какая-то цель? Не берусь ответить решительно, но такой грустью веет от этой тупой шутки...

И сразу следом за ней — короткий рассказ о том, как, оттеснив русских солдат на покрытые льдом пруды, французы начали стрелять по льду; солдаты гибли под ядрами; в воду рушились люди, лошади, пушки; среди всего этого метался Долохов, первым прыгнувший на лед...

Так кончилась битва при Аустерлице. Кутузов был прав, но никто не признает его правоты после сражения.

Все вернутся к своим делам — все, кроме князя Андрея, истекающего кровью на Праценской горе с древком в руках (знамя взято французами). Здесь, на Праценской горе, почти в бреду, князь Андрей переживает минуты, которые во многом изменят его жизнь, определят все его будущее. Он услышит голоса и поймет французскую фразу, сказанную над ним: «Вот прекрасная смерть!»

«Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон... Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило между его душой и этим высоким бесконечным небом с бегущими по нем облаками...»

Что же понял князь Андрей на поле Аустерлица? Нет, он не пришел к богу, как мечтала сестра, княжна Марья, надевая на него образок, отнятый, а теперь, после разговора с Наполеоном, возвращенный французскими солдатами. Вера княжны Марьи кажется князю Андрею слишком ясной и простой, все на самом деле сложнее. Но одно он понял под высоким и добрым небом: прежние стремления к славе, к любви людской суетны и потому ничтожны. Что-то другое должен человек искать в жизни, но что?

II

Жизнь между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, с своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапарте и вне всех возможных преобразований.

1. Обед в честь Багратиона

Поражение под Аустерлицем произвело в Москве странное впечатление. Сначала все недоумевали и старались не говорить о войне. «Но через несколько времени... были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты».

Надо сказать, что среди этих причин, найденных московскими «тузами» из Английского клуба, некоторые были справедливы: действительно, войска плохо снабжались продовольствием; действительно, молод и неопытен был царь. Но главной причиной поражения московские болтуны объявили «неспособность» Кутузова и, чтобы подчеркнуть нерасположение к нему, воздавали почести другим героям войны — в особенности Багратиону.

Война не кончилась, но приостановилась. После победы при Аустерлице Наполеон мог свободно диктовать свои условия австрийскому императору Францу. Он потребовал, чтобы русские войска ушли из Австрии, и это было выполнено. Наполеон заключил с Австрией выгодный для себя мир и отправился в Париж, а русские войска вернулись на родину, и многие офицеры получили отпуск, в том числе Денисов, Ростов и Долохов, уже к Аустерлицу вернувший себе офицерский чин.

И вот они все трое — блестящие победители, как будто не было Аустерлица,— сидят на обеде, устроенном членами Английского клуба в честь Багратиона.

«— Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь»,— сказал Николай Ростов отцу накануне обеда и был прав: Илья Андреевич сбился с ног. Один только список того, что он заказывает для празднества, производит ошеломляющее впечатление: «Гребешков, гребешков в тортю положи... стерлядей больших... Ах, отцы мои!.. Да кто же мне цветы привезет?.. Скачи ты, Митенька, в подмосковную... чтобы мне двести горшков тут к пятнице были... Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган, что ли, позвать?.. Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих... а оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй... найди ты там Ильюшку-цыгана...»

Нет ничего дурного в том, что хлебосольный старый граф, вкладывая свои деньги, изо всех сил старается как можно лучше устроить обед в честь героя войны. Невнятное раздражение возникает, когда читаешь, какие рассказы ходят о каждом из гостей. «Тот спас знамя, тот убил пять французов, тот один заряжал пять пушек. Говорили и про Берга, те, которые не знали его, что он, раненный в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер...»

Илья Андреевич Ростов, и младший сын его Петя, жадно слушающий рассказы о войне, и штатский Пьер, и старики из Английского клуба — все они, конечно, свято верят этим рассказам. Но мы-то, знающие, как все было на самом деле,— мы видим, что война отражается в московских разговорах, как в кривом зеркале: неверно, уродливо. Героем выглядит Берг! Как исказилось бы лицо князя Андрея, если бы он вошел в заполненные гостями комнаты клуба, услышал этот «стон разговаривавших голосов», увидел это движение мундиров, фраков и кафтанов, снующих, «как пчелы на весеннем пролете....»

Сам Багратион чувствует себя растерянным «в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с Георгиевской звездой», с только что подстрижен-

ными волосами и бакенбардами, с наивно-праздничной улыбкой, придающей «даже несколько комическое выражение его лицу». В дверях его стараются пропустить вперед, он останавливается — происходит нелепая сцена; наконец Багратион проходит вперед.

«Он шел, не зная, куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене». Николая Ростова он узнал и сказал ему «несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день».

Толстой не жалеет иронии, описывая положение Багратиона во время обеда. Ему подносят на серебряном блюде стихи. «Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто-то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так идти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту»,— как будто сказал Багратион и, устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом...»

Багратион — замечательный полководец, герой. Но в «Войне и мире» у меня есть к нему один счет — за Тушина. Не могу простить ему маленького капитана Тушина, испуганно стоящего перед ним в штабной избе под Шенграбеном. И вдруг — странное дело— Багратион в Английском клубе начинает напоминать Тушина. Никто его не ругает, не разносит — наоборот, все его чествуют, посвящают ему стихи и кантаты; но он теряется не меньше, чем Тушин в штабе, и неприятна ему вся эта показная пышность, и чем-то, наверное, все-таки приятна...

Идет обед, посвященный Багратиону. Но у людей, сидящих за столом, свои дела, свои отношения между собой. Эти дела и отношения невольно врываются в торжественный ритм обеда и затмевают его, они уже важнее для людей, чем война, которая была вчера, а сегодня отошла в прошлое.

2. *Долохов*

Вот как мы видим его впервые — пьяного, в белой рубашке, на рассвете, в шумной компании Анатоля Курагина: «Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми глазами... Он не носил усов, как и все пехотные офицеры, и рот его, самая поразительная черта его лица, был весь виден... В середине верхняя губа энергически опускалась на крепкую нижнюю острым клином, и в углах образовывалось постоянно что-то вроде двух улыбок... и все вместе, а особенно в соединении с твердым, наглым, умным взглядом, составляло впечатление такое, что нельзя было не заметить этого лица».

Эти светлые голубые глаза, этот твердый, наглый и умный взгляд мы увидим много раз: на смотре в Браунау, и в бою под Шенграбеном; во время дуэли с Пьером, и у зеленого карточного стола, за которым Ростов проиграет Долохову сорок три тысячи, и у ворот дома на Старой Конюшенной, когда сорвется попытка Анатоля увезти Наташу, и позже, в войну 1812 года, когда отряд Денисова и Долохова спасет из французского плена Пьера, но в бою за пленных погибнет мальчик, Петя Ростов,— тогда жестокий рот Долохова скривится, и он отдаст приказание: всех захваченных французов расстрелять.

Долохов — самый непонятный, самый таинственный из всех героев «Войны и мира». Мы восхищаемся его безрассудной храбростью, его внезапно и коротко прорывающейся нежностью; нас пугает его жестокость, нам хочется постичь этот загадочный характер.

Что же он такое на самом деле, Федор Долохов?

Он «был небогатый человек, без всяких связей. И несмотря на то, что Анатоль проживал десятки тысяч, Долохов жил с ним и успел себя поставить так, что и Анатоль и все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатоля».

Ему не на что и не на кого рассчитывать — только на себя. Развлекались втроем: Долохов, Анатоль и Пьер — «достали где-то медведя, посадили с собой в карету и повезли к актрисам. Прибежала полиция их унимать. Они поймали квартального и привязали его спина с спиной к медведю и пустили медведя в Мойку; медведь

плавает, а квартальный на нем...» Чем же все это кончилось?

Долохов был офицером — и потому его разжаловали в солдаты. Пьер нигде не служил, его нельзя было разжаловать, но наказанье его постигло легкое,— видимо, из уважения к умирающему отцу. Анатоль был офицером — его не разжаловали. Долохов запомнил это и Анатолю, и Пьеру.

Еще один урок он получил на войне. Встретив Жеркова, принадлежавшего раньше к его «буйному обществу», он убедился, что Жерков «не счел нужным узнать его» в солдатской шинели. Этого Долохов тоже не забыл — и когда Жерков, после разговора Кутузова с разжалованным, радостно приветствовал Долохова, тот отвечал подчеркнуто холодно.

Так на наших глазах складывается характер, формируется жестокий и эгоистичный человек, одинокий, как волк. Первые же слова, которые мы услышали от Долохова, были жестоки. Пьяный Пьер пытался повторить его «подвиг»: выпить бутылку рома, сидя на открытом окне. Анатоль пытался удержать Пьера.

«— Пускай, пускай,— сказал Долохов улыбаясь».

После этого прошел год — очень нелегкий год солдатчины, трудных походов и не менее трудных смотров. Мы видели, как Долохов отстаивал свое достоинство перед смотром в Браунау и как настойчиво напоминал генералу о своих заслугах в Шенграбенском бою. Он чудом не погиб на льду австрийских прудов, приехал в Москву и поселился в доме Пьера. Как раньше он не жалел Пьера, так не жалеет и теперь: живя в его доме, он завел роман с его женой. Не влюбился в нее, не полюбил — это бы хоть в какой-то степени его оправдывало. Нет, Элен так же безразлична ему, как другие светские женщины, он просто развлекается и, может быть, мстит Пьеру за историю с медведем, за то, что Пьер богат и знатен.

На обеде в честь Багратиона «Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но... он, казалось, не видел и не слышал ничего... и думал о чем-то одном, тяжелом и не разрешенном.

Этот неразрешенный, мучивший его вопрос были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо...

Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что-то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался».

Пьер знает: Долохов не остановится перед тем, чтобы опозорить старого приятеля. «Для него была бы особенная прелесть в том, чтоб осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я... помог ему». Так думает Пьер в то время, как Долохов и Николай Ростов, насмешливо и неодобрительно поглядывая на него, пьют за хорошеньких женщин.

Он боится Долохова — могучий Пьер. Приучив себя додумывать все до конца и быть откровенным с самим собой, он честно признается себе: «Ему ничего не значит убить человека... Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно, я боюсь его...» Но в душе его, преодолевая страх, поднимается бешенство, и когда Долохов с «серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру»,— это бешенство вскипает, ищет выхода.

«— За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников»,— сказал Долохов.

Этого мало: он выхватил из рук Пьера листок с текстом кантаты — само по себе это было бы вполне возможно при их приятельских отношениях, но сейчас, «что-то страшное и безобразное, мутившее его во время обеда, поднялось и овладело» Пьером.

«— Не смейте брать! — крикнул он».

Все вокруг испуганы, но Долохов смотрит «светлыми, веселыми, жестокими глазами...»

«Бледный, с трясущеюся губой, Пьер рванул лист.

— Вы... вы... негодяй!.. я вас вызываю,— проговорил он и, двинув стул, встал из-за стола».

И вот — дуэль в Сокольниках. Секунданты Несвицкий и Денисов делают, как полагается, попытку примирения. «Нет, об чем же говорить! — сказал Пьер,— все равно... Вы мне скажите только, как куда ходить и стрелять куда?»

Долохов знает, что Пьер не умеет стрелять. Но и он тоже отвечает секунданту: «Никаких извинений, ничего решительно».

Оба секунданта понимают, что происходит убийство. Поэтому они медлят минуты три, когда уже все готово. Кажется, ничто не может спасти Пьера. Понимает ли

это Долохов? Чем виноват перед ним Пьер — за что он готов убить этого человека?

«Становилось страшно»,— пишет Толстой. И вот Денисов выходит к барьеру и сердито кричит: «Г'...аз! Два! Тг'и!» Уже нельзя остановить то, что происходит, и Денисову остается только сердиться.

Пьер, нелепо вытянув вперед правую руку, «видимо боясь, как бы из этого пистолета не убить самого себя», стреляет первым — и ранит Долохова.

Оба они поступают после выстрела Пьера точно так, как должны поступать именно эти два человека, с этими характерами. Раненый Долохов, упав в снег, все еще целится, а Пьер стоит, «беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью», перед Долоховым — так, что даже Денисов, секундант Долохова, не выдержав, кричит: «Закг'ойтесь!»

Долохов промахнулся, стреляя в Пьера, которого он жестоко оскорбил.

Но через несколько недель он не промахнется в другой дуэли — бескровной.

Живя в семье Пьера, Долохов разрушил эту семью. Войдя в дом Николая Ростова, он попытался отнять у своего друга невесту. Соня отказала ему — Долохов не таков, чтобы не отомстить. Он не вызывает Николая на дуэль, но обыгрывает его в карты — сознательно, холодно и обдуманно: приглашает свою жертву запиской в гостиницу, несколько раз спрашивает: «Или ты боишься со мной играть?», предупреждает: «В Москве распущен слух, будто я шулер, поэтому советую вам быть со мной осторожнее»,— и, выиграв огромную сумму, «ясно улыбаясь и глядя в глаза Николаю», замечает: «Ты знаешь поговорку: «Счастлив в любви, несчастлив в картах». Кузина твоя влюблена в тебя. Я знаю».



Он не позволит безнаказанно оскорбить себя, но разве Николай хотел его

оскорбить? Наоборот — преклонялся перед ним, обожал его — так он наказан за свое обожание.

Может быть, через несколько месяцев, помогая Анатолю увезти Наташу, Долохов вспомнит о том, что Соня не ответила на его чувства, предпочла Николая. Может быть, так он на свой лад отомстит Ростовым.

Он страшный человек, Федор Долохов. В двадцать пять лет он хорошо знает людей, среди которых живет, и понимает: ни честность, ни ум, ни талант не ценятся этими людьми. Он привык не верить честности, уму и таланту. Он циничен и может обмануть любого, даже вчерашнего лучшего друга, потому что знает: это простят. Не простят слабости. А бесчеловечность вызовет уважение и страх.

Но... трижды мы увидим Долохова не похожим на себя самого.

Подъезжая к дому после дуэли с Пьером, он поразит Ростова — и нас тоже: «Я ничего, но я убил ее, убил... Она не перенесет этого. Она не перенесет...

— Кто? — спросил Ростов.

— Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать,— и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова».

Не могу отделаться от мысли, что Толстой не все додумал до конца в этой сцене. Она кажется слишком сентиментальной. Но как только появляется мать Долохова, веришь каждому ее слову — и Толстой опять становится всезнающим. Мать рассказывает Ростову о своем Феде: «Он слишком благороден и чист душою... для нашего нынешнего, развращенного света... Ну, скажите, граф, справедливо это, честно это со стороны Безухова?.. Есть ли чувства, честь у этих людей! Зная, что он единственный сын, вызвать на дуэль и стрелять так прямо!.. Какая низость, какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф... Его редкие понимают. Это такая высокая, небесная душа...»

Мать помнит: «В Петербурге эти шалости с квартальным, там что-то шутили, ведь они вместе делали? Что ж, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес!» Она права — так оно и было. Она права, когда говорит: «Таких, как он, храбрецов и сынов отечества немного...» Она, как и всякая мать, отлично видит все хорошее в своем сыне и не видит, не хочет и не может видеть его холодной жестокости. Может быть, потому

Долохов и называет мать ангелом, и преданно любит ее, что она одна хочет видеть в нем «высокую, небесную душу»? Но где же он настоящий — с матерью или со всеми остальными?

Еще раз в его наглых светлых глазах мелькнет человеческое — на детском бале у Иогеля, когда эти глаза будут с нежностью следить за танцующей Соней. Он сам расскажет Николаю Ростову, что мало кого любит, не верит людям, презирает женщин и дорожит жизнью только потому, что еще надеется «встретить такое небесное существо, которое бы возродило, очистило и возвысило» его.

Он правильно выбрал: Соня — именно та чистая и верная душа, которую он ищет. Но нет ему счастья: она любит другого.

Решив отомстить Николаю, Долохов задумал выиграть у него сорок три тысячи. «Число это было им выбрано потому, что сорок три составляло сумму сложенных его годов с годами Сони».

Нам трудно себе представить, что этот жестокий, холодный человек способен на такую чувствительность — складывать свои годы и Сонины. Но он способен. И как ни неприятен нам Долохов в сцене своего выигрыша, мы все-таки с недоумением жалеем его.

И в третий раз Долохов удивит нас перед Бородинской битвой, когда, встретясь с Пьером, он неожиданно для нас с серьезным достоинством попросит у него прощенья.

Только трижды мы увидим Долохова не похожим на себя самого.

Но этого довольно, чтобы понять: этот одинокий, злой человек мог бы быть другим. У него есть идеал: прекрасные, преданные женщины — такие, как мать, Соня; сильные, бестрепетные мужчины, забывающие перед лицом общей опасности свою мелкую вражду — как сам он перед Бородинской битвой. Он хочет, чтобы жизнь была прекрасна, но она не соответствует его идеалу, она жестока и несправедлива. И потому Долохов тоже жесток и несправедлив. Можем ли мы оправдать его? Бесспорно, нет. Он ищет себя, этот сильный, и страстный, и деятельный человек,— но ведь Пьер и князь Андрей тоже ищут себя и находят свой путь не в злости и цинизме, а, наоборот, в служении добру и справедливости.

Жестокость не может быть оправдана ничем — и те редкие минуты, когда в Долохове просыпается челове-

ческое, только усиливают осуждение, с которым мы смотрим на его обычное холодное самоутверждение. Есть ли надежда, что он изменится? Нельзя ответить на этот вопрос определенно. Но хочется надеяться...

Читая «Войну и мир», я невольно примериваю к героям романа события, с которых Толстой хотел начать свою книгу, а потом отложил их. Восстание 1825 года. Где все они будут 14 декабря? Пьер, Николай, Денисов, Долохов, Друбецкой? Не войдет ли Борис Друбецкой в состав следственной комиссии? Не будет ли Долохов тверд перед вопросами этой комиссии и по-прежнему одинок, и по-прежнему холоден в долгие годы каторги?

А может быть, он найдет себя на Сенатской площади и другим человеком станет в Сибири, на каторге? Может быть, там он смягчится душой и будет таким, каким до сих пор его знала только мать. Ему будет тогда сорок пять лет, но ведь и генерал Денисов не так уж молод в конце романа, в 1820 году, и среди декабристов были немолодые люди...

А сейчас только начался 1806 год, Долохову двадцать шесть, и что станется с ним потом — кто знает?

3. Граф и графиня Безуховы

Мы расстались с Пьером в Сокольниках, когда он «схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова:

«— Глупо... глупо! Смерть... ложь...»

Но и до этого мы давно не видели Пьера, с тех пор, как он одиноко сидел в доме умирающего отца, не понимая, что вокруг него происходит, и нимало не заботясь о своем будущем.

Будущее стало настоящим; Пьер — богач и граф Безухов, женатый на красивейшей женщине света. Но стал ли он от этого счастливым? Нет.

Права была княжна Марья, когда беспокоилась за Пьера: «Столь молодому быть отягощенным таким огромным состоянием,— через сколько искушений надо будет пройти ему!»

Пьер не выдержал первого же искушения — он женился на Элен, хотя разум удерживал его от этого, хотя он

много раз повторял себе, что Элен глупа, что чувство, которое она возбуждает в нем, «гадкое... запрещенное».

Все любимые герои Толстого: Пьер, Наташа, князь Андрей, старик Болконский — все они совершают жестокие ошибки. Не ошибается Берг, не ошибается Борис, не ошибается Соня — и потому Толстой не любит ее. А те, кого он любит, ошибаются — и Толстой беспощадно показывает их заблуждения.

Что касается Пьера, то он до сих пор совершал на наших глазах одни только нелепые, неразумные и непоправимые поступки: защищал революцию и Наполеона в гостиной Шерер; нарушил данное князю Андрею честное слово и поехал к Курагину, чтобы участвовать в буйных шалостях с медведем; зачем-то рекомендовал князю Андрею Бориса; поддался низменному чувству к Элен и женился на ней...

Вот, может быть, главное: увлекшись Элен, Пьер почувствовал, что «между ним и ею не было уже никаких преград»; это же испытает Наташа, влюбившись в Анатоля; брат и сестра Курагины, красивые люди, умеют вызвать к себе слепую и темную страсть, но не любовь, потому что любовь — чувство прежде всего духовное.

Женившись на Элен, Пьер изменил самому себе — за это он горько расплатился.

Теперь он корчится от стыда, вспоминая три французских слова: je vous aime, которые решили его судьбу. Но ведь было счастье первых недель, даже месяцев брака, счастье сознания, что эта величавая красавица — его жена, и гордость за нее; ведь он гордился ее неприступной красотой, своим домом, «в котором она принимала весь Петербург»! И было ощущение, что люди наконец поняли его, Пьера,— все любят его, всем он нужен, к его словам прислушиваются, всюду его зовут... Теперь он знает, что звали не его, а владетеля миллионов и графского титула; но тогда, несколько месяцев назад, так хотелось верить, что он сам, такой, каков есть, нужен людям...

Все рухнуло сразу — в тот день, когда он понял, что в анонимном письме написана правда и унылая кузина, княжна, намекала на правду; когда убедился в измене жены и друга — ведь считал же он Долохова другом.

За что же мы любим Пьера, несмотря на все его ошибки? Прежде всего за то, что он обвиняет в своих несчастьях не других, а *себя*, мучительно ищет *свою* вину.



«Но в чем же я виноват? — спрашивал он.— В том, что ты женился на ней, не любя ее, в том, что ты обманул и себя, и ее... Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: «Je vous aime», которое было ложь и еще хуже, чем ложь? — говорил он сам себе...»

Элен нисколько не мучается. Она входит в его кабинет «в белом атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diadéme огибали два раза ее прелестную голову)», входит «спокойно и величественно». Дождавшись, когда выйдет камердинер, она устраивает Пьеру безобразную, грубую и лживую сцену:

«— Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго.

— Я?.. что?.. я...— сказал Пьер.

— Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль! Что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю».

Она *искренне* возмущена: «К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы...» — это единственное, что ее беспокоит. Она не понимает цинизма того, что говорит. Ее мир прост и ясен: в нем всего только нет места чувствам. Поэтому я жестоко радуюсь, когда «Пьер вскочил с дивана и, шатаясь, бросился к ней.

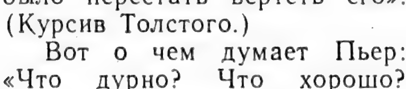
— Я тебя убью! — закричал он и, схватив со стола мраморную доску с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее».

Я наслаждаюсь тем, что Элен, величественно вошедшая в комнату с морщинкой гнева «на мраморном несколько выпуклом лбе», теперь «взвизгнула» и *выбежала* из комнаты.

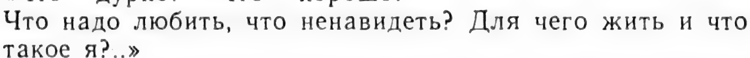
Через несколько дней Пьер так же выгонит князя Василия, явившегося примирять супругов,— и это опять будет радостно, потому что невозможно допустить, чтобы низкие люди, как хотят, вертели Пьером.

Но легче ли Пьеру от этих приступов бешенства?

Нисколько не легче. Расставшись с женой, он едет в Петербург — и все одни и те же вопросы, овладевшие им в ночь после дуэли, мучают его. «Как будто в голове его *свернулся* тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь. Винт не входил дальше, не выходил вон, а вертелся, ничего не захватывая, все на том же нарезе, и нельзя было перестать вертеть его». (Курсив Толстого.)



Вот о чем думает Пьер: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я?..»



Никогда в жизни графиня Елена Васильевна не задаст себе ни одного из этих вопросов. Ей они не нужны — без них спокойнее. Да, конечно, она в своем непробиваемом спокойствии гораздо счастливее мучающегося Пьера. Но насколько полнее и богаче его жизнь со страданиями и срывами!

Это неправда, что человека воспитывают только родители, учителя, окружающие люди. То есть это правда, пока человек мал. Но едва он научится думать, как начинает воспитывать себя и сам. Борис Друбецкой сам сделал из себя карьериста, Долохов — жестокого циника, Николай Ростов — нерассуждающего рубаку, князь Андрей — человека дела. Вот и Пьер в муках рождает себя — человека, живущего не бесцельно.

4. Андрей Болконский и Пьер Безухов

Прошло полтора года с тех пор, как князь Андрей лежал под небом Аустерлица, и столько мыслей теснилось в его голове, и вдруг оказалось ненужным и мелким все, что накануне было значительно и составляло смысл жизни. Прошло полтора года — он, как и Пьер, прожил за это время целую жизнь, совсем иную, чем прежде.

Позади остался страшный день, когда он, оправившись после раны, приехал в Лысые Горы, вошел в комнату жены и сказал «слово, которое никогда не говорил ей»: «Душенька моя... Бог милостив...»

Он вернулся домой, к женщине, которую любил когда-то и готов был опять любить — уже иной любовью, не восторженной, юношеской, а любовью зрелого человека, многое передумавшего. Он хотел воспитывать сына и любить свою жену, а она умерла, и он остался один, потому что ни княжна Марья, ни даже отец не могли, оказывается, заменить эту наивную, веселую, может быть, глупенькую женщину, для которой он — князь Андрей — был главным человеком в жизни.

Теперь он был главным человеком только для мальчика, но мальчик не знал этого; кормилица и нянька были ему пока нужнее, чем отец.

Князь Андрей помнил тишину и успокоение, открывшиеся ему под небом Аустерлица. Он не хотел участвовать в новой войне с Наполеоном и, «чтобы отделаться от действительной службы, принял должность под начальством отца по сбору ополчения. Старый князь с сыном как бы переменились ролями после кампании 1805 года».

Наконец-то старый князь Болконский вернулся к деятельности! Он разъезжал по трем губерниям, шумел, действовал, был энергичен, быстр, даже жесток — он д е л о д е л а л: собирал ополчение против Наполеона.

А князь Андрей не хочет помогать отцу. Раньше он мечтал о славе, о любви людской — эти мечты остались на поле Аустерлица. Но ведь старый князь собирает ополчение, не заботясь о своей славе,— ему важно отдать свои силы общему делу.

Князь Андрей не хочет ничему и никому отдавать свои силы. Ему все неинтересно, и бурная деятельность отца только раздражает его, так же как письмо Билибина о голоде в армии и о склоках между генералами. Стоя у детской кроватки, он думает о сыне: «Это одно, что осталось мне теперь».

Но вот к нему приезжает Пьер.

«— Ну, что там? — послышался *резкий неприятный голос.*

— Гость,— ответил Антон.

— Проси подождать,— и послышался отодвинутый стул.

Пьер быстрыми шагами подошел к двери и столкнулся

лицом к лицу с выходившим к нему *нахмуренным и постаревшим князем Андреем*...

...Его поразила происшедшая перемена в князе Андрее. Слова были ласковы, улыбка была на губах и лице князя Андрея, но *взгляд был потухший, мертвый,* которому, несмотря на видимое желание, князь Андрей не мог придать радостного и веселого блеска». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Вместе с Пьером мы огорчаемся и не можем поверить, что этот мрачный, хмурый человек с потухшим взглядом — князь Андрей Болконский, что это с ним Пьеру «неловко и даже тяжело» говорить.

Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы расстались с Пьером, когда «в голове его свернулся тот главный винт, на котором держалась вся его жизнь», и он задавал себе вопросы, и не мог на них ответить. Теперь он заехал к князю Андрею, возвращаясь из поездки по своим имениям. Он полон жизни, надежд, стремлений, деятелен; ему кажется: он нашел то, ради чего стоит жить. Как это произошло?

Расставшись с женой и уехав из Москвы, Пьер встретил на станции в Торжке одного из крупнейших деятелей организации франкмасонов, выслушал его и поверил ему.

Что такое масонство и какова его роль в общественной жизни России? Многие декабристы прошли через масонские ложи (так называлась первичная организация масонов); во время южной ссылки вступил в масоны Пушкин. Вокруг масонов было создано вполне определенное общественное мнение: их считали нарушителями спокойствия, чуть ли не бунтовщиками. Слово «фармазон», ругательное в устах добродетельных помещиков, произошло от искаженного «франкмасон». Вы помните, как в «Горе от ума» графиня-бабушка спрашивает о Чацком: «Что? к фармазонам в клоб? Пошел он в пусурманы?» И об Онегине соседи судачат: «Он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино...»

Зачем люди шли в масонские ложи? Каждый за своим. Позже мы увидим, как среди масонов окажется Борис Друбецкой,— уж этот не истины ищет, не разрешает вопросов о добре и зле. Многие так, как он, становились масонами, чтобы иметь среди своих «братьев» людей влиятельных и знатных, пользоваться их помощью в самых земных делах.

Но многих — в их числе и Пьера — привлекала та идея внутреннего очищения и самоусовершенствования, которую открыл Пьеру встреченный в Торжке масон Баздеев.

Сущность масонства заключалась в призыве к внутренней духовной работе над собой. «Очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость»,— говорит Пьеру Баздеев. Расставшись с ним, Пьер почувствовал себя новым человеком. «В душе его не оставалось ни следа прежних сомнений. Он твердо верил в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели, и таким представлялось ему масонство».

После разрыва с женой, после крушения всех своих прежних надежд Пьер так х о т е л найти новую истину, новый смысл жизни, что, конечно, д о л ж е н был найти ее. И вот, переполненный мечтой о братстве людей, он отправился в свои поместья с целью облегчить положение крестьян, то есть принести пользу и добро другим людям, своим братьям. Он хочет отпустить крестьян на волю, но главноуправляющий его поместьями объясняет, что это невозможно, во всяком случае, сразу. Тогда Пьер выдвигает новые реформы: сокращение крестьянских работ, облегчение труда женщин с детьми, уничтожение телесных наказаний, учреждение больниц и школ... И, казалось бы, ему это удается. Объезжая через некоторое время свои владения, Пьер видит благодарные депутации хорошо одетых крестьян, строящиеся больницы и школы; слышит благодарность женщин с грудными детьми, которых он избавил от тяжелых работ.

Вот из этой-то поездки, счастливый от сознания, что он приносит людям добро, Пьер является к князю Андрею. Он жаждет показать, что теперь он «совсем другой, лучший Пьер, чем тот, который был в Петербурге». Он оживлен, рассказывает, расспрашивает, мечтает открыть отчаявшемуся другу свой новый мир деятельной любви к людям: «Только теперь, когда я живу, по крайней мере стараюсь (из скромности поправился Пьер) жить для других, только теперь я понял все счастье жизни».

Князь Андрей слушает все это недоверчиво и хмуро. Он не только ничего не хочет рассказывать о себе, но, слушая Пьера, дает понять, что все это ему давно известно и неинтересно, «даже как будто стыдясь за то, что рассказывал Пьер».

Пьер провозглашает: нужно делать людям добро. Андрей отстаивает другое: нужно жить так, чтобы не делать никому зла. Слушая этот спор, мы, конечно, становимся на сторону Пьера, но скоро окажется, что на самом деле все сложнее, чем представлялось и ему, и нам.

При ближайшем рассмотрении полезная деятельность Пьера оказывается вовсе не такой уж полезной. «Пьер не знал, что там, где ему подносили хлеб-соль и строили придел Петра и Павла... придел уже строился давно богачами-мужиками села, а что девять десятых мужиков этого села были в величайшем разорении... Он не знал, что священник, встретивший его с крестом, отягощал мужиков своими поборами и что собранные к нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большие деньги были откупаемы родителями...»

Понимает ли все это князь Андрей? Вероятно — да. Он лучше знает людей, чем Пьер, он лучше знает хозяйство. Но главное не это. Пьер сейчас пришел к тому, о чем думал и мечтал князь Андрей перед Аустерлицем. «Я жил для славы. (Ведь что же слава? та же любовь к другим, желание сделать для них что-нибудь, желание их похвалы.) Так я жил для других и не почти, а совсем погубил свою жизнь»,— говорит князь Андрей.

После Аустерлица, когда над ним стоял Наполеон, его герой,— человек, убежденный, что он осчастливил пол-Европы и, по крайней мере, Францию,— там князь Андрей понял, что все люди имеют свои мечты, стремления, надежды — и не может кто-то один решать за них, что им нужно. Он понял, что понятие добра можно понимать по-разному, и пришел к выводу: главное — не делать никому зла, тогда и добро расцветет само собой.

Кто прав: он или Пьер? Оба в чем-то правы и оба могут оказаться неправы. Но оба они напряженно и мучительно ищут своего места в жизни, хотят приносить людям пользу.

Казалось бы, князь Андрей, с раздражением слушавший Пьера, ничего не вынесет для себя из этого разговора. Но встреча произвела сильное впечатление на обоих друзей. Для Пьера она стала источником сомнений в масонстве — через год или два он совсем отойдет от масонов. Князь Андрей, наоборот, вступит в ложу и вернется к деятельности. Как бы недоверчиво он ни слушал друга, «свидание с Пьером было для князя Андрея

эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь».

Читая об этом свидании, я всегда думаю вот что. Как часто мы боимся оскорбить горе, в которое погружены наши друзья, боимся причинить им боль напоминанием о том, что жизнь продолжается, и оставляем близких людей погруженными в отчаяние. А Пьер не побоялся — и оказался прав, это он совершил тот толчок, без которого внутреннее возрождение князя Андрея было бы невозможно.

Может быть, старик Болконский и княжна Марья поняли это, ведь когда князь Андрей привез к ним Пьера, отец и сестра Андрея были очень ласковы с гостем, а после его отъезда говорили о нем только хорошее.



В своей «во внешности той же самой», но все-таки новой жизни, начавшейся после этой встречи, князь Андрей быстро и успешно сделал все то, что не удалось Пьеру. «Одно именье его в триста душ крестьян было перечислено в вольные хлебопашцы (это был один из первых примеров в России), в других барщина заменена оброком. В Богучарово была выписана на его счет ученая бабка для помощи родильницам, и священник за жалованье обучал детей крестьянских и дворовых грамоте».

Сложилось так потому, что князь Андрей «имел в высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цепкость, которая... давала движение делу».

Но ведь не только Пьер и князь Андрей стремились облегчить положение своих крестьян; такова же была задача многих честных и умных помещиков; некоторые из них вошли потом в тайные общества, другие не вошли, но к реформам стремились. Пример Пьера и князя Андрея показывает, что крупные преобразования не могут быть осуществлены отдельными людьми в отдельных поместьях: у одного есть «практическая цепкость», у другого — нет, как бы ни было сильно его стремление делать добро. Чтобы на самом деле изменить положение крестьян, нужно было общее для всей страны решение крестьянского вопроса.

Может быть, князь Андрей понял это, когда решился уехать из своего имения в Петербург, войти в комиссию Сперанского, подготавливающую государственные реформы. Деятельность комиссии Сперанского тоже не удовлетворит его, и будет еще одно разочарование, и много, много еще впереди будет надежд, огорчений, падений, взлетов — и у князя Андрея, и у Пьера. Но одно они оба сохранят — постоянное стремление искать истину, добро и справедливость.

5. *Василий Денисов*

Среди героев «Войны и мира» есть исторические, реально существовавшие лица: Кутузов, Наполеон, Александр I, Багратион, Вейротер... Толстой рисует каждого из них так, как он видит,— иногда вовсе необъективно; например, Наполеон, конечно, был на самом деле не таким, как его изобразил Толстой.

Многих героев романа писатель выдумал, но что значит — выдумал? В старом князе Болконском, в Андрее и Пьере, в Наташе, в князе Василии и Долохове соединились черты многих людей, которых знал Толстой. Считается, что Николай Ильич Ростов и Марья Николаевна Болконская в какой-то мере списаны с родителей Толстого, но это не точные портреты, и многое в Николае и княжне Марье вовсе не похоже на отца и мать писателя.

Только у одного человека в романе есть вполне определенный прототип — у Денисова. Он «списан» с известного поэта-партизана, героя войны 1812 года Дениса Давыдова. Даже именем подчеркнута связь между литературным героем и живым человеком: Давыдова звали Денис Васильевич, у Толстого в романе — Василий Денисов.

Но, описывая в четвертом томе партизанскую войну, Толстой упомянет никак не связанную с Денисовым деятельность Дениса Давыдова — и этим как бы отделит его от героя романа.

И, кроме того, так ли уж важно нам, читающим роман сегодня, какого живого человека имел в виду Толстой? Люди, описанные в романе, так ясно живут в нашем воображении, что князь Андрей оказывается более знакомым и более живым, чем, например, реально существовавшие декабристы Батеньков или Фонвизин, и Пьер ближе мне, чем, скажем, Сергей Григорьевич Волконский, и жен декабристов я понимаю через Наташу... Поэтому мы будем говорить о Василии Денисове — таком, каким видим его в романе, не пытаясь сравнивать его с прототипом и решать, что Толстой взял из жизни, а что выдумал.

«Денисов был маленький человечек с красным лицом, блестящими черными глазами, черными взлохмаченными усами и волосами».

Лихой кавалерист, рубака, азартный игрок и мастер выпить, он в то же время романтически влюблен в женщину, именуемую «она», и рассказывает Ростову в самых возвышенных выражениях: «Ей пишу... Мы спим, пока не любим. Мы дети пг'аха... а полюбил — и ты бог, ты чист, как в пег'вый день созданья...»

Для Ростова Денисов — образец, идеал настоящего мужчины: храбрый, отчаянный человечек с открытой душой. В бою он «чертом» вертится под пулями на своем

лихом скакуне; денег у него никогда нет — он их пропивает и проигрывает, но когда Телянин украл его кошелек, Денисов готов последним пожертвовать, лишь бы сохранить честь полка.

После Аустерлица Денисов вместе с Ростовым едет в отпуск в Москву — по дороге, конечно, напивается и, еле-еле продрав глаза, присутствует при встрече Николая с родными. Когда вошла старая графиня и припала лицом к груди сына, «Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза».

В отличие от Долохова он — хороший человек. Просто хороший человек, добрый и умеющий чувствовать, умеющий думать о других людях. Поэтому во время дуэли, где он был секундантом Долохова, он, не выдержав, крикнул Пьеру: «Закг'ойтесь!», поэтому медлил, пытаясь оттянуть начало дуэли.

Встретив Денисова на войне, мы видим его глазами Ростова — любуемся его отвагой; скрепя сердце, соглашаемся с его заботой о чести полка. Но мы еще не знаем этого смелого и чистого человека; он откроется перед нами в Москве, когда ни с того ни с сего, так же отчаянно, как он скакал в бой, вдруг сделает предложение Наташе.

Сам перед собой и перед всеми людьми он делает вид, что шутливо ухаживает за молоденькой девочкой, и не понимает, что девочка эта всерьез завладела его мыслями. Вот он с Ростовым на детском бале покровительственно оглядывает танцующих:

«— Как она мила, кг'асавица будет,— сказал Денисов.

— Кто?

— Г'афиня Наташа,— отвечал Денисов.

— И как она танцует, какая г'ация! — помолчав немного, опять сказал он.

— Да про кого ты говоришь?

— Пг'о сестг'у пг'о твою,— сердито крикнул Денисов».

Толстой несколько раз замечает, что Денисов восторгался пением Наташи, «восторженными глазами смотрел на нее», «весь бал не отходил от нее» после того, как Наташа уговорила его танцевать мазурку.

«Только на коне и в мазурке не видно было маленького роста Денисова, и он представлялся тем са-

мым молодцом, каким он сам себя чувствовал». А мы всегда видим его молодцом — и потому нестерпимо жалко его, когда он — вероятно, неожиданно сам для себя — делает Наташе предложение.

Мать Наташи, старая графиня, не поверила своим ушам.

«— Наташа, полно, глупости! — сказала она, еще надеясь, что это была шутка.

— Ну вот, глупости! Я вам дело говорю,— сердито сказала Наташа.— Я пришла спросить, что делать, а вы мне говорите: «глупости»...

Графиня пожала плечами.

— Ежели правда, что мосье Денисов сделал тебе предложение, хотя это смешно, то скажи ему, что он дурак, вот и все.

— Нет, он не дурак,— обиженно и серьезно сказала Наташа».

Графиня права в своем возмущении, «что осмелились смотреть, как на большую, на ее маленькую Наташу». Но напрасно она так насмешливо говорит о Денисове: «мосье», напрасно называет его дураком; Наташа сердцем понимает Денисова лучше, чем ее мать. Этот отчаянный человек ищет и ждет чистой любви так же нетерпеливо, как наглый Долохов. Все его романтические влюбленности — только поиски, только ожидание настоящей любви. И вот он встретил девушку, о которой мечтал, но она — еще ребенок; за что ему, такому храброму и доброму, выпало это тяжкое испытание?

Это поймет позже князь Андрей: встретясь с Денисовым уже после разрыва с Наташей, он, гордый и ревнивый князь Болконский, с нежностью вспомнит рассказы Наташи об этом хорошем человеке, о его любви к ней; и не боль, не злобу вызовет у него мысль, что они с Денисовым любили одну женщину, но грустное сожаление.

А впереди у Денисова еще много печалей, именно потому, что он добр и честен. Он торопится в полк — зачем ему теперь оставаться в Москве. Он торопится в полк — там он нужен, там его любят, там его место. Но в полку многое изменилось.

За то время, что Денисов был в отпуске, Наполеон успел вступить в войну с Пруссией, разбить за несколько дней прусскую армию и двинуть свои войска навстречу русским. Положение русских войск было ужасно



прежде всего потому, что они стояли в разоренных дотла немецких деревнях.

«Павлоградский полк в делах потерял только двух раненых; но от голоду и болезней потерял почти половину людей».

Вернувшись в полк и увидев, что солдаты голодают, Денисов отправился на дорогу и попросту силой отбил у пехотинцев обоз с провиантом. Этот его поступок имел самые серьезные последствия, потому что в провиантском ведомстве, куда Денисова послали объясняться, он увидел... Телянина! Вот когда оказалось, что напрасно офицеры Павлоградского полка пощадили Телянина — он-то не даст Денисову пощады.

Но прямой и честный Денисов не в состоянии понять всего, что с ним произошло. Он же взял провиант, «чтобы кормить своих солдат», а Телянин сидит в провиантском ведомстве, «чтобы класть в карман»! Не сдержавшись, Денисов избил Телянина — теперь ему грозит суд «за г'азбой».

По законам офицерской чести Денисов прав, и товарищи его понимают это. Но по законам бюрократической машины он виноват; в полк приходят бумаги, запросы — и Денисов, скрепя сердце, решается поехать с легкой раной в госпиталь, чтобы избегнуть необходимости являться к начальству.

Сцена в госпитале, куда Ростов приехал проведать Денисова, очень грустна. Не случайно здесь же оказывается потерявший руку капитан Тушин — мы помним, как в глазах Багратиона Жерков оказался более надежным офицером, чем Тушин. И теперь он смотрит своими большими грустными глазами на Денисова, опасаясь за него.

Денисов еще ничего не понимает и не хочет просить о помиловании: «Ежели бы я был разбойник, я бы просил милости, а то я сужусь за то, что вывожу на чистую воду разбойников. Пускай судят, я никого не боюсь; я честно служил царю и отечеству и не крал!»

Но Денисов уже не тот, что прежде. Судебное дело подкосило его — он уже не спрашивает Ростова о товарищах, о делах полка; его интересует только тяжба с

провиантским ведомством. Сломили Денисова. И, самое обидное, не враги сломили, не в бою, а свои же. И еще товарищи уговаривают, чтобы он перестал бороться за справедливость, написал царю прошение о помиловании.

«— Видно, плетью обуха не пег'ешибешь,— сказал он... подавая Ростову большой конверт. Это была просьба на имя государя... в которой Денисов, ничего не упоминая о винах провиантского ведомства, просил только о помиловании.

— Пег'едай, видно...— Он не договорил и улыбнулся болезненно-фальшивой улыбкой».

Но и это не помогло. Царь отклонил прошение.

Теперь он на долгие годы — опальный, мрачный неудачник. До сих пор жизнь представлялась ему ясной: будь честен и храбр — и ты заслужишь уважение и почет. Все оказалось совсем не так просто. Никто не вспомнил его заслуг, его храбрости — Телянин победил, а он осужден.

Несчастная любовь к Наташе тоже сыграла свою роль в глубоком отчаянии Денисова. Оказалось: можно чисто и преданно полюбить девушку, но этого еще недостаточно, чтобы она тоже тебя полюбила.

Главное же, что сломило Денисова,— несправедливость того мира, в котором еще недавно все было просто и ясно.

И все-таки Денисов останется верен тому нравственному идеалу, о котором мечтал с юности. В 1812 году он забудет свои обиды, не до них; он пойдет в партизаны и станет защищать не царя — отечество.

После войны он опять будет никому не нужен, снова станет брюзжать, но однажды скажет Пьеру: «Бунт — вот это так!» — и, может быть, он тоже придет на Сенатскую площадь, потому что очень разными путями придут туда разные люди, объединенные только одним — мечтой о справедливости.

6. Николай Ростов

Он вовсе не самый наш любимый герой в «Войне и мире». Многое в нем чуждо и неприятно нам. Но то, что он чувствует, часто помогает нам понять себя, и многие его переживания очень нам знакомы.

Вот он едет в отпуск в Москву, уже въезжает и думает: «Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!»

Мне всегда вспоминается Пушкин: «Пошел! Уже столпы заставы Белеют; вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах».

У Пушкина так въезжает в Москву Татьяна, но ведь видит-то он сам, так он увидел Москву, привезенный туда фельдъегерем из ссылки в 1826 году, через двадцать лет после Николая Ростова.

Но и не только Пушкин. Разве мы все не так же нетерпеливо подъезжаем к родному дому, с умилением узнаем самые обычные предметы и огорчаемся, когда родной долгожданный дом стоит «неподвижно, нерадушно...» Так знакомо и то, что испытыл Николай через несколько минут после приезда: «Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали: но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он все ждал чего-то еще, и еще, и еще».

И эта естественная легкость, с которой он — офицер, взрослый мужчина — входит в свой детский мир; ему понятно и «сожжение руки линейкой для показания любви», и Наташина болтовня, и то, что она пыталась надеть его сапоги со шпорами, а Соня кружилась по комнате, раздувая платье,— все это, оказывается, было в нем все долгие месяцы под ядрами и пулями, а теперь ожило и расцвело.

Конечно, он уже мужчина — мы видели это под Аустерлицем. Но ничто вернее не доказывает, какой он еще мальчишка, чем его старанье утвердить свою взрослость. «Отчаяние за невыдержанный из закона божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней — он про все это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он — гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег... У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером... Он дирижировал мазурку на бале...»

Весь этот приезд домой проходит под знаком само-



утверждения, необходимости доказать всем и себе самому, что он взрослый, Соней ему заниматься некогда; у него мужские дела: обед в Английском клубе, дуэль Долохова с Пьером, карты, бега...

У старого графа Ростова другие заботы: перезаложить все имения, чтобы Николушка мог завести собственного рысака «и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами...» Потом старому графу приходится приложить немало сил, чтобы замять участие сына в дуэли и пристроить его в Москве.

Николай всего этого не замечает, как не замечаем мы всех забот родителей. Он не замечает даже того, что Долохов влюблен в Соню,— об этом сказала ему Наташа, которая не любит Долохова и чуть не поссорилась из-за него с братом. Но Николай занят своей мужской жизнью, большую часть времени он проводит вне дома.

И вдруг происходит крушение. Не пустяк, не мелочь — катастрофа. Долохов отлично знает, что значит для Николая проиграть сорок три тысячи, но он холодно мстит; он-то проиграл Соню!

Есть несколько сцен в «Войне и мире», которые невозможно толковать — только перечитывать и вспоминать свое. Такова сцена между Николаем и отцом после проигрыша. Мы видели все муки Николая в гостинице у Долохова, когда «вся игра сосредоточилась на одном Ростове», проигрыш рос; Николай «то молился богу... то загадывал, что та карта, которая первая попадется ему в руку... спасет его; то рассчитывал, сколько было шнурков на его куртке, и с столькими же очками карту пытался ставить на весь проигрыш...»

И бесконечно вертелись в его голове мысли — как у Пьера, когда он расстался с женой.

Но Пьер думал о добре и зле, обвинял себя, а Николай старался себя оправдать: «Я ничего не сделал дурного. Разве я убил кого-нибудь, оскорбил, пожелал зла? За что же такое ужасное несчастие?..»

Он с д е л а л дурное — и за это ему такое несчастье. Но он никогда не поймет своей вины. Он виноват в том, что не умеет думать. Наташа чутьем поняла, что

Долохов злой человек. У Николая не хватило на это чутья, а умом он понять не может; ум его не развит, он не умеет им пользоваться.

Да, он научился быть мужчиной в том понимании, какое ему доступно. Проиграв сорок три тысячи и услышав спокойное замечание Долохова: «А устаешь, однако, так долго сидеть»,— он так же спокойно отвечает: «Да, и я тоже устал», хотя про себя думает: «Теперь пуля в лоб — одно остается». У него хватает достоинства не позволить Долохову рассуждать о Соне: «Моя кузина тут ни при чем, и о ней говорить нечего!»

Но, приехав домой, к отцу, он снова становится мальчишкой: «Папа, я к вам за делом пришел. Я было и забыл. Мне денег нужно».

Все, что он говорит дальше, так же безобразно, как: «Я было и забыл». Он понимает, что ведет себя постыдно, но уже не может изменить свой тон. Краснея, «с глупой, небрежной улыбкой, которую он долго потом не мог себе простить», развязным тоном Николай произносит:

«— Что же делать! С кем это не случалось!»

В душе он считает себя «негодяем, подлецом, который целою жизнью не мог искупить своего преступления. Ему хотелось бы целовать руки своего отца, на коленях просить его прощения...»

Вы помните конец этой сцены? «Николай готовился на отпор», но отпора не было. Старый граф едва не умер, услышав про сорок три тысячи, но и здесь он остался собой.

«— Да, да,— проговорил он,— трудно, я боюсь, трудно достать... с кем не бывало! да, с кем не бывало...»

Можно не любить Николая за многое, но здесь, в этой сцене, жалеешь и любишь его.

«— Папенька! па...пенька! — закричал он ему вслед, рыдая,— простите меня! — И, схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал».

Вернувшись в полк, Ростов «решил, что он в пять лет заплатит этот долг родителям». Может быть, это первое по-настоящему взрослое его решение; и он выполнит его, но жизнь пошлет его неискушенному уму новое испытание: случится беда с Денисовым.

Николай честный человек, мы много раз убеждались в этом. Он преодолел в себе трусость; он презирал себя, когда расхвастался у Бориса; он не только мучительно

пережил свой проигрыш, но и нашел выход — ограничить себя во всем и вернуть долг родителям.

Да, он честен. Но оказывается, что быть только честным — мало, надо еще уметь размышлять и рассуждать, и делать выводы, а этого-то не умеет и потому не любит Николай.

Как честный человек он бросается на помощь другу: едет к Денисову в госпиталь и оттуда отправляется в Тильзит искать царя, чтобы просить его помиловать Денисова.

Колесо истории тем временем резко повернулось. Проиграв французам сражение при Фридланде, Александр I понял, что воевать с Наполеоном ему не под силу, и решился на дружбу с ним. Наполеону тоже была выгодна передышка. Оба императора встретились в Тильзите, имели долгую беседу, после которой объявили себя друзьями. Вчерашний враг императора Александра и рода человеческого, узурпатор, посланец дьявола Бонапарте сегодня стал царственным братом, императором Наполеоном. Борис Друбецкой, конечно, с легкостью принял эту перемену: в его доме уже собираются французские офицеры, пьют и веселятся — он считает это естественным.

Но Николай Ростов, приехавший к Борису поздно вечером, переполненный впечатлениями госпиталя, где никто не лечит живых и не убирает мертвых, озлобленный и огорченный делом Денисова,— Николай с его природной честностью не может смотреть на французов без враждебности. В эту встречу окончательно стало ясно, что Борис с Николаем разошлись навсегда и что рассчитывать на помощь Бориса в деле Денисова безнадежно. Оставалось одно: прорываться к царю. Случай помог — письмо удалось передать. Николай видел своими глазами, как появился царь, слышал своими ушами, как он ответил передавшему письмо генералу: «Не могу, генерал, и потому не могу, что закон сильнее меня...»



Казалось бы, Николай,

убежденный в правоте Денисова, знающий, кто такой Телянин, должен возмутиться против всякого, кто не захочет восстановить справедливость. Но... «чувство восторга и любви к государю с прежнею силою воскресло в душе Ростова», и, когда царь «поехал галопом по улице, Ростов, не помня себя от восторга, с толпою побежал за ним».

Сейчас начнется торжественная церемония — демонстрация дружбы двух великих императоров.

Еще вчера стрелявшие друг в друга солдаты сегодня должны, по мнению своих повелителей, чуть ли не брататься и уж во всяком случае мгновенно почувствовать себя союзниками. Пароль назначается в один день: «Наполеон, Франция, храбрость», в другой — «Александр, Россия, величие»; Наполеон награждает храбрейшего из русских солдат (называют ему, разумеется, первого попавшегося) орденом Почетного Легиона; Александр в ответ посылает «Георгия самому храброму из французских гвардейцев...»

Отказ Александра помиловать Денисова мог бы показаться справедливым; действительно, закон должен быть сильнее царя. Но на фоне всей этой лживой пышности, этого парада, этой дружбы с вчерашним врагом проступок Денисова кажется таким незначительным, а громкие слова Александра — такими лицемерными!

Даже Ростов чувствует неладное, в душе его — сумятица. «То ему вспоминался Денисов с своим изменившимся выражением, с своею покорностью и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями... То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте с своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки и ноги, убитые люди?.. *Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их*». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

В том-то и дело, что, победив в себе страх перед пулями, Николай не научился побеждать страх перед мыслями. Он б о и т с я д у м а т ь — это качество очень удобно его командирам и его императору; он прекрасный подданный, но плохой гражданин, потому что истинный гражданин прежде всего додумывает все до конца.

Вечером, за обедом, когда разговор зашел о дружбе с французами и товарищи Ростова высказывали свое недовольство, он молчал и пил, «он боялся предаваться

своим мыслям и не мог отстать от них», именно поэтому, придравшись к чьим-то вполне невинным словам, он «начал кричать с горячностью, ничем не оправданною и потому очень удивившею офицеров:

— Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего... Велят нам умирать — так умирать. А то коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так этак ничего святого не останется... Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все...».

Так кричал Николай Ростов в 1807 году — казалось бы, что же тут страшного: солдат и правда должен подчиняться приказу. Но в эпилоге романа Николай скажет Пьеру: «Вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду». 14 декабря он мог бы выйти на Сенатскую площадь с другой стороны, с теми, кто защищал царя, не размышляя. Это могло бы произойти, потому что совсем еще молодым он запретил себе то, что человек обязан делать всю жизнь,— думать над каждым своим поступком, думать и о том, что происходит на его глазах.

7. Полковник Берг

Зачем он взял шпагу в левую руку, когда его ранили в правую, и пошел вперед?

Берг напоминает Молчалина: у того два качества — *умеренность и аккуратность,* этот в свою очередь, «во время похода получив роту, успел своею *исполнительностью и аккуратностью* заслужить доверие начальства». (Курсив мой.— *Н. Д.*) Действительно, Молчалин и Берг — одного толка чиновники. Но люди они разные, и, может быть, Берг сложнее.

Мы еще не знакомы с ним, когда слышим впервые его имя,— Наташа, «разгорячась», говорит Вере:

«— У каждого свои секреты. Мы тебя с Бергом не трогаем... Ты кокетничай с Бергом сколько хочешь...»

Уже то, что с Бергом кокетничает Вера — красивая, холодная, спокойная Вера, всегда говорящая неприятные вещи, так непохожая на остальных Ростовых,— уже одно это настораживает.

Но вот и он сам — «свежий, розовый... безупречно вымытый, застегнутый и причесанный» — сидит в кабинете старого графа Ростова и «розовыми губами» выпускает дымок «из красивого рта».

Берг неприятен нам сразу, как неприятен Толстому, и он не изменится; с первых страниц до последних он останется тем же аккуратным, рассудительным, чисто вымытым розовым офицером; только чины его будут меняться.

«Берг говорил всегда очень точно, спокойно и учтиво. Разговор его всегда касался только его одного; он всегда спокойно молчал, когда говорили о чем-нибудь, не имеющем прямого к нему отношения... Но как скоро разговор касался его лично, он начинал говорить пространно и с видимым удовольствием».

Все его рассказы — это рассуждения вслух о своей выгоде: «Будь я в кавалерии, я бы получал не более двухсот рублей в треть, даже и в чине поручика; а теперь я получаю двести тридцать...», «Я, знаете, граф, не хвалясь, могу сказать, что я приказы по полку наизусть знаю... Поэтому, граф, у меня по роте упущений не бывает. Вот моя совесть и спокойна».

Бергу выгодно не только получать двести тридцать рублей, но и быть честным. Он заботится не только о повышении в чине, но и о спокойной совести. Он по-своему патриот: встретившись с Ростовым на войне, «надел чистейший, без пятнышка и соринки, сюртучок, *взбил перед зеркалом височки кверху, как носил Александр Павлович,* и... с приятной улыбкой вышел из комнаты». (Курсив мой.— *Н. Д.*) Его патриотизм — в подражании и преданности царю.

У него тоже есть свой нравственный идеал: «В нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари...» Согласно этому нравственному идеалу, он и совершил «подвиг» при Аустерлице: взял шпагу в левую руку и пошел вперед. Ему было страшно, но он преодолел страх. Он имел право уйти с поля боя, но не ушел, остался...

Зато уж потом он выжмет из своего «рыцарского» поведения все, что возможно.

Это не грубый расчет, нет. Это такой самоуверенный эгоизм, что можно было бы ему удивляться, если бы он редко встречался в людях. Но, к сожалению, он встречается не так уж редко.

Берг не просто расчетлив, эгоистичен, скуп — он твердо убежден, что иначе жить нельзя; поэтому ему не стыдно рассказывать о том, как переводом в гвардию он уже выиграл чин перед своими товарищами по корпусу, как в военное время ротного командира могут убить и он, оставшись старшим в роте, может очень легко быть ротным...

Это напоминает уже не Молчалина, а Скалозуба: «Довольно счастлив я в товарищах моих; вакансии как раз открыты: то старших выключат иных; иные, смотришь, перебиты...» Но Скалозуб — тупой полуграмотный солдафон, а Берг — милый, учтивый, аккуратный...

Для графини Веры Ростовой Берг вовсе не блестящая партия. Несколько лет назад его предложение, несомненно, было бы отклонено, да и он сам, четыре года назад показав Веру своему товарищу и сказав: «Она будет моею женою»,— не торопился делать предложение. Он был безвестный дворянин из обрусевших немцев; она — девушка из богатой и знатной семьи. Но Берг терпелив — он ждал четыре года, и за это время многое изменилось: «...дела Ростовых были очень расстроены... а главное, Вере было двадцать четыре года, она выезжала везде, и, несмотря на то, что она несомненно была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложения».

Граф Илья Андреевич объясняет Верину непохожесть на всю свою семью тем, что «графинюшка мудрила» со старшей дочерью. Мало вероятно, чтобы любящая мать могла так много «намудрить». Ростовы, живущие открыто, по-старинному, не задумываясь, просто не заметили, как их старшая девочка становилась все холоднее и эгоистичнее по мере того, как появлялись новые дети и требовали своей доли материнских забот. Конечно, ее баловали, как баловали и Николая, и Наташу, и Петю,— но те трое любили друг друга, учились у отца быть добрыми и думать не только о себе. Рядом с ними росли Соня и Борис, нуждавшиеся в душевном тепле... Вера же с детства поняла, что ей мешают остальные дети, что они лишние; недаром она делает выговор Николаю за взятую у нее чернильницу; недаром возмущается «секретами» Наташи и Сони; все они ее раздражают; у нее одна забота — о себе.

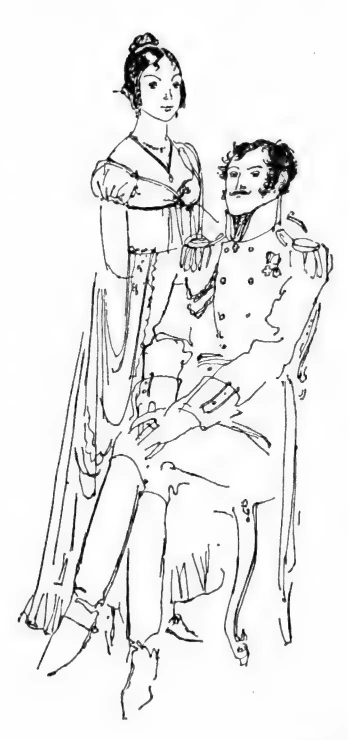
Берг правильно выбрал себе жену и правильно рассчитал время, когда сделать предложение. К 1809 году

он уже не тот безвестный офицер, который сидел в кабинете графа Ростова в 1805 году.

«Берг недаром показывал всем свою раненную в Аустерлицком сражении правую руку и держал совершенно ненужную шпагу в левой. Он так упорно и с такой значительностью рассказывал всем это событие, что все поверили в целесообразность и достоинство этого поступка,— и Берг получил за Аустерлиц две награды».

Еще две награды он получил за то, что в Финляндской войне «поднял осколок гранаты, которым был убит адъютант подле главнокомандующего, и поднес начальнику этот осколок».

Самое поразительное, что, упорно повторяя рассказы об этих своих подвигах, Берг вовсе не думает о карьере: он любит себя и убежден, что каждый его поступок значителен и важен другим людям, что всем интересно знать, как он отличился. В результате в «1809-м году он был капитан гвардии с орденами и занимал в Петербурге какие-то особенные выгодные места».



И женился он вовсе не по расчету. Вера давно произвела на него впечатление. Еще в 1805 году он «с нежной улыбкой говорил с Верой о том, что любовь есть чувство не земное, а небесное», и верил тому, что говорил. Вера — та жена, какая ему нужна, «прекрасная, почтенная девушка... Вот другая ее сестра — одной фамилии, а совсем другое, и неприятный характер, и ума нет того, и эдакое, знаете?.. Неприятно...» Берг женился по любви, как он понимает любовь, «но надо, чтобы жена принесла свое, а муж свое», поэтому он торгуется со старым графом самым натуральным образом: «Берг, приятно улыбаясь, объяснил, что, ежели он

не будет знать верно, что будет дано за Верой, и не получит вперед хотя части того, что назначено ей, то он принужден будет отказаться.

— Потому что, рассудите, граф, ежели бы я теперь позволил себе жениться, не имея определенных средств для поддержания своей жены, я поступил бы подло...»

И граф Ростов, конечно, дает ему даже больше денег, чем он требует, потому что старый граф от таких разговоров теряется, ему чего-то стыдно, и он хочет поскорей покончить с расчетами.

Трудно представить себе таких разных людей, как Илья Андреевич Ростов и Берг. Старый граф разорился, угощая обедами и ужинами всю Москву, а Берг даже товарищу своему хотел было сказать: «вот будете приходить к нам обедать», но сказал: «чай пить». Но ведь расточительный граф Ростов оставил своих детей без денег, и жена его, став вдовой, будет перебиваться только благодаря самоотречению сына; а Берг и родителям своим устроил аренду, и детям своим оставит приличное состояние.

Чем же плох аккуратный, старательный, очень твердо соблюдающий свое представление о долге и чести Берг?

Тем, что его представление о чести и долге бесчеловечно, в нем нет места другим людям. Это обнаружится со всей ясностью гораздо позже, когда наполеоновская армия подойдет к Москве, и русские купцы, еще вчера втридорога продававшие сено своим, сегодня будут жечь его, чтобы не досталось врагу; Наташа начнет выкидывать из подвод вещи всей семьи, чтобы увезти с собой раненых; весь народ — то есть каждый человек! — будет думать не только о себе; но люди, подобные Бергу, останутся собой — и сам он, такой же чистенький, как всегда, будет озабочен покупкой шифоньерочки для своей любимой жены.

Не стану уверять, что Берг когда-нибудь расплатился за то, что жил так мелко и самодовольно. Нет. Он всю жизнь будет чувствовать себя счастливым и таких же вырастит детей; он никогда ни в чем не раскается.

Чацкий был по-своему прав, когда говорил: «Молчалины блаженствуют на свете». Они блаженствуют потому, что их счастье легко достижимо. Да, Берг счастлив. Но ведь это так нетрудно — добиться его идеала счастья!

Вот он сидит, уже полковник, в «чистеньком с иголочки мундире, с припомаженными наперед височками, как носил государь Александр Павлович», в своем «новом, чистом, светлом, убранном бюстиками, и картинками, и новой мебелью кабинете», рядом красивая жена его в новой кружевной пелеринке, какая была на княгине Юсуповой... К ним съезжаются гости, и Берг счастлив оттого, что «вечер был как две капли похож на всякий другой вечер... все было, как и у всех», и в серебряной корзинке были точно такие же печенья, «какие были у Паниных на вечере, все было совершенно так же, как у других».

Этот идеал жизни враждебен Толстому прежде всего потому, что люди не должны быть одинаковыми. Стремление быть, как все, рождает мещанина, а мещанство, может быть, самая тяжкая болезнь общества. Там, где граждане превратились в мещан, останавливается духовное развитие людей и страны, там невозможен прогресс.

Аккуратная и безобидная на первый взгляд психология Берга несет с собой гибель нравственности. Не спешите смеяться над Бергом — он не смешон, а страшен. И в особенности потому, что его идеал счастья не умер, он есть и сегодня: красивая жена, новенькая с иголочки одежда, квартира — все, как у других, как у всех... Посмотрите вокруг себя — разве вы не видите людей, замолкающих, как только разговор не касается лично их, истово убежденных, что главное в жизни — их благополучие и продвижение по службе. Загляните в свою душу — вы уверены, что там не притаился Берг? Кто изгонит его, кто защитит вас от него, если не вы сами?

8. Наташа

Вы помните, как она появляется впервые: «бег... нескольких мужских и женских ног, грохот зацепленного и поваленного стула» — и вот она: «в комнату вбежала тринадцатилетняя девочка, запахнув что-то короткою кисейною юбкою, и остановилась посередине комнаты. Очевидно было, она нечаянно, с нерассчитанного бега, заскочила так далеко».

«Нечаянно, с нерассчитанного бега» она будет поступать не раз, и мы будем все больше любить ее именно за эту нерассчитанность поступков.

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка» — много раз Толстой беспощадно подчеркнет, что Наташа далеко не всегда красива; она не Элен; она бывает просто дурна, почти уродлива, а бывает прекрасна, потому что ее красота — от внутреннего огня оживления, от душевной переполненности, которая не всегда открыта постороннему глазу.

Непрестанно в ней идет какая-то своя жизнь, и свет этой внутренней жизни падает на Соню и Бориса, отражается в Николае и Пете, радует старого графа, волнует его жену; одна только Вера холодно, раздраженно и благоразумно осуждает Наташу: «Уж я, верно, не стану перед гостями бегать за молодым человеком...»

В тринадцать лет Наташа хочет быть взрослой, как все девочки в тринадцать лет. Она боится упустить что-то из манящей и недоступной жизни взрослых; ей надо скорей, немедленно все решить и определить.

«— ...Так кончено?

И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо.

— Кончено! — сказал Борис.

— Навсегда? — сказала девочка.— До самой смерти?

И, взяв его под руку, она с счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную».

Так началась ее жизнь. В тот же день, во время обеда, «Наташа... глядела на Бориса, как глядят девочки тринадцати лет на мальчика, с которым они в первый раз только что поцеловались и в которого они влюблены. Этот самый взгляд ее иногда обращался на Пьера...»

Рядом сидит Соня и так же смотрит на Николая — она пронесет через всю жизнь свою родившуюся в детстве любовь к нему; все в ее жизни будет правильно — слишком правильно и потому бедно. А Наташа, в своих заблуждениях и горестях, не растеряет, а увеличит свое душевное богатство и в конце концов принесет его тому самому Пьеру, на которого сегодня случайно обращается ее оживленный взгляд.

Она переполнена жаждой жизни — вот в чем секрет ее очарования. За один только день своих именин она успевает пережить и перечувствовать столько, что другой

девочке хватило бы на полгода. С ней происходит так много событий, потому что она жадно ищет их.

Еще утром она бегала по дому с куклой и беспричинно смеялась, спрятав лицо в одежде матери. Потом подсматривала и подслушивала разговор Николая и Сони — это нехорошо, Наташа знает, что нехорошо, но не может удержаться — очень интересно! Потом было объяснение с Борисом, и все решилось навсегда, и это было счастье. За обедом она поспорила с Петей, что при всех взрослых гостях спросит, какое будет пирожное,— и спросила, и пререкалась через стол с самой Марьей Дмитриевной, которой все боятся, а Наташа не боится.

После обеда выяснилось, что куда-то пропала Соня, и Наташа нашла ее, плачущую, на сундуке в коридоре, и сама, «распустив свой большой рот и сделавшись совершенно дурною, заревела, как ребенок, не зная причины и только оттого, что Соня плакала».

Вовсе не одна только жизнерадостность переполняет ее — и сочувствие, и жалость к Соне, и злится она на Веру: услышав Сонины сбивчивые слова, она сразу догадалась, что не обошлось без Веры, что уж непременно Вера сказала что-то неприятное...

И это умение утешить: «Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой... Я уже не помню как, но помнишь, как было хорошо и все можно...»

Через несколько минут она уже поет с братом «Ключ», потом танцует с Пьером, сидит на виду у всех с веером, как большая,— и, забыв в одно мгновенье, что она большая, дергает «за рукава и платье всех присутствовавших», чтобы смотрели на танцующего папеньку...

Читая о тринадцатилетней Наташе, я всегда вспоминаю другую героиню Толстого — умную, взрослую Анну Каренину, едущую в поезде и читающую английский роман. «Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь; читала ли она о том, как леди Мери ехала верхом... ей хотелось это делать самой».

Вот это же стремление все делать самой, чувствовать за всех, всюду поспевать, все видеть, во всем участвовать — это страстное желание жить переполняет Наташу. Вероятно, от этого она так обостренно чутка: угадывает по интонациям и выражениям лиц то, чего не видят даже взрослые люди.

Когда придет письмо от Николая, Наташа сразу догадается об этом и вырвет у Анны Михайловны всю правду «с условием не говорить никому.

— Честное, благородное слово,— крестясь, говорила Наташа,— никому не скажу,— и тотчас же побежала к Соне».

Для Сони известие имело свой прямой смысл: Николай был ранен, это горе. Для Наташи горестная сторона только что открылась, но она тут же отмела ее: «Немножко ранен, но произведен в офицеры; он теперь здоров, он сам пишет...»

Для нее важно другое — произошло событие: письмо, известие о ране, о производстве в офицеры; а жизнь для нее — это цепь событий, в которых можно участвовать,— неважно, радостные это события или горестные: важно, чтобы они происходили, чтобы все двигалось и требовало ее, Наташиных, усилий...

«— Ты его помнишь? — после минутного молчания вдруг спросила Наташа...— И я помню Николеньку, я помню,— сказала она.— А Бориса не помню. Совсем не помню...»

Как же так? Ведь «навсегда, до самой смерти...» Вот Соня, почти ровесница Наташи, говорит: «Что бы ни случилось с ним, со мной, я никогда не перестану любить его — во всю жизнь» — и это будет правдой. А Наташа так не умеет; ей еще нужно научиться любить и пройти через горькие ошибки, но зато уж и любовь ее будет полной, не такой, как тихая, преданная и бескрылая любовь Сони.

Наташе пятнадцать лет. Она встречает приехавшего в отпуск брата: «...держась за полу его венгерки, прыгала, как коза, все на одном месте и пронзительно визжала».

«— Голубчик, Денисов! — взвизгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его».

Она уже не та девочка с «маленькими ножками в кружевных панталончиках» — взрослый Денисов видит в

ней девушку, но девочка живет в ней и заставляет совершать все эти не светские, не очень приличные поступки: визжать, целовать Денисова и непрестанно смеяться, потому что «она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом». Чтобы доказать Соне свою любовь, она разожгла на огне линейку и прижала к руке. Зная добропорядочную Соню, мы не сомневаемся, что она протестовала и возмущалась,— Наташе это неважно: она не столько доказывает Соне свою любовь, сколько себе — свое мужество.

Пятнадцатилетняя Наташа задает себе вопросы, которые никогда не придут в голову ни ее сестре Вере, ни Жюли Карагиной, ни Элен: что благородно, что неблагородно, как *можно* и как *нельзя* поступать. Она в восторге, когда Соня решает освободить Николая от данного ей слова. «Ежели ты... считаешь себя связанным словом, то выходит... что ты все-таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то»,— объясняет она брату.

Вот еще один секрет ее очарования: у нее есть свой мир, и в этом мире огромное место занимают люди, она чутьем понимает их; то, что недоступно старшему брату, прошедшему войну, ясно ей, пятнадцатилетней девочке. «За Долохова она чуть не поссорилась с братом. Она настаивала на том, что он злой человек, что в дуэли с Безуховым Пьер был прав, а Долохов виноват, что он неприятен и неестествен».

Объяснить, логически доказать Наташа не умеет, потому что понимает людей не умом, а сердцем. Но сердце подсказывает ей всегда верно.

Когда Николай вернулся домой после проигрыша, Наташа «мгновенно заметила состояние своего брата... но ей самой было так весело в ту минуту... что она... нарочно обманула себя» и вернулась к пению. И все-таки, сама того не зная, Наташа поет для брата и этим помогает ему. «Что ж это такое? — подумал Николай, услыхав ее голос...— Что с ней сделалось? Как она поет нынче? — подумал он...— Все это,



и несчастье, и —деньги, и Долохов, и злоба, и честь,— все это вздор... а вот оно настоящее... Ну, Наташа, ну, голубчик! ну, матушка!.. Как она это si возьмет... Взяла? Слава богу!»

Когда Денисов внезапно сделал Наташе предложение, она и его поняла. «Ведь я знаю, что он не хотел сказать, да уж нечаянно сказал»,— говорит она матери, только того не понимая, что это ее пение перевернуло душу Денисова, и, погрузившись в ее радостный мир, он уже не мог отказаться от него.

Этот же светлый, счастливый, поэтический мир Наташи почувствует в Отрадном князь Андрей. Он еще не готов полюбить, он только недоумевает: «Чему она так рада?» и огорчается: «Дела нет до моего существования!», когда Наташа ночью заставляет Соню петь, и высовывается из окна, и опять будит Соню: «Ведь эдакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало».

1809 год. Наташе шестнадцать лет — и приезжает Борис: «Он ехал с твердым намерением ясно дать почувствовать и ей и родным ее, что детские отношения между ним и Наташей не могут быть обязательством ни для нее, ни для него». Но, увидев ее, он потерял голову, потому что перед ним тоже открылся этот ее мир света, радости и добра. Он забыл все свои планы женитьбы на богатой невесте, перестал ездить к Элен, и Наташа «казалась по-старому влюбленной в Бориса». Но с матерью она говорит о нем так: «Скажите, мама. Он мил?.. Ну, не выйду замуж, так пускай ездит, коли ему весело и мне весело... И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе — он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...

— Что ты врешь! — сказала графиня».

Она не врет, а очень точно понимает Бориса: узкий, серый, светлый. Просто она еще не умеет любить, только ждет любви. Борис нужен ей потому, что восхищается ею: «Мама, а он очень влюблен? Как, на ваши глаза? В вас были так влюблены?» Сама же она, вернувшись к себе от матери, думает не о нем, а о себе, воображая, что ею восхищается «какой-то очень умный, самый умный и самый хороший мужчина».

Он еще не пришел, этот мужчина, но Наташа понимает: это не Борис. И он придет, потому что настал час, когда Наташа полюбит.

9. *Князь Андрей*

После свидания с Пьером князь Андрей продолжал жить в деревне так же безвыездно, как и раньше. Но внутренняя жизнь его изменилась: он много читал, следил за всеми событиями, много думал.

Мысль о том, что он может воскреснуть к новой жизни, любви, деятельности,— мысль эта неприятна ему. Поэтому, увидев на краю дороги старый корявый дуб, как будто не желающий расцветать и покрываться новыми листьями, князь Андрей грустно соглашается с ним: «Да, он прав, тысячу раз прав этот дуб... пускай другие, молодые, вновь поддаются на этот обман, а мы знаем жизнь,— наша жизнь кончена!»

Ему тридцать один год, и все еще впереди, но он искренне убежден, что «ему начинать ничего... не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая».

Наташа ли вошла в эту жизнь и перевернула ее, или князь Андрей, сам того не зная, был уже готов к тому, чтобы воскреснуть душою?

Вероятно, и то, и другое справедливо. Ведь когда он приехал по делам в имение Ростовых и увидел Наташу, его только встревожила ее неистребимая жажда жизни. «Чему она так рада?.. И чем она счастлива?» — думал князь Андрей, невольно завидуя этому уменью быть счастливой.

Но после встречи с Наташей князь Андрей иными глазами смотрит вокруг себя — и старый дуб теперь подсказывает ему совсем другое.

«Да где он? — подумал опять князь Андрей, глядя на левую сторону дороги и, сам того не зная... любовался тем дубом, которого он искал... Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия — ничего не было видно».

Казалось бы, он приходит к тому же, к чему пришел Пьер: «Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь... чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» Но он не просто старше и опытнее Пьера; князь Андрей — другой человек, более зрелый и умеющий доводить до конца свои решения. Поэтому в деревне ему удалось то, что не удавалось Пьеру; поэтому через два месяца после

встречи со старым дубом он уехал в Петербург, чтобы быть полезным людям.

С первых же строк, рисующих появление князя Андрея в Петербурге, Толстой подготавливает нас к его будущему разочарованию. Князь Андрей еще полон надежд. Но мы, благодаря Толстому, уже видим, как холоден с ним царь, недовольный тем, «что Болконский не служил с 1805 года», как тупы глаза Аракчеева и почти невежлив его тон; как неестествен Сперанский, в котором князь Андрей ждет найти «полное совершенство человеческих достоинств».

Мы все это видим. Но... князь Андрей страстно заинтересован реформистской деятельностью Сперанского, он жаждет участвовать в ней, он полон жизни.

Тогда и входит в его судьбу Наташа. Этого не могло бы случиться два года назад. Он не был готов для любви, и она не была готова. Теперь, воскреснув духовно, он ждет новой любви. И Наташа, пройдя через сочувствие к Денисову и самолюбивое удовольствие от новой встречи с Борисом,— пройдя через любовь, обращенную к ней, ждет того, кого полюбит она. Своим обостренным чутьем Наташа знает: до сих пор все это было не то, не ОН. Но должен же ОН прийти...

И он приходит — на бале, где присутствует царь, где «Элен имела большой успех», а Наташа стояла среди дам, «замиравших от желания быть приглашенными», и чуть не плакала. Пьер попросил своего друга пригласить Наташу, но князь Андрей и сам «узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.

— Позвольте вас познакомить с моей дочерью,— сказала графиня, краснея.

— Я имею удовольствие быть знакомым, ежели графиня помнит меня,— сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном, совершенно противоречащим замечаниям Перонской о его грубости...

«Давно я ждала тебя»,— как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слез улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея».

Так началась эта любовь, которую никогда не мог понять старый князь Болконский и так хорошо понял Пьер.

Так началась эта странная любовь двух очень, очень разных людей,— может, потому и полюбили друг друга, что такие разные.

«Князь Андрей, как все люди, выросшие в свете, любил встречать в свете то, что не имело на себе общего светского отпечатка. И такова была Наташа, с ее удивлением, радостью, и робостью, и даже ошибками во французском языке». Его жена, маленькая княгиня Лиза, никогда не делала ошибок во французском языке. И не было в ней ни робости, ни удивления: она вся была отсюда — из света; здесь он нашел ее и полюбил, но теперь он — другой, и ему теперь может открыться другая любовь, какой он еще не знал никогда.

На следующий день он поехал к Ростовым и, слушая пение Наташи, «почувствовал неожиданно, что к его горлу подступают слезы, возможность которых он не знал за собой... Он был счастлив, и ему вместе с тем было грустно». Приехав домой, «он лег спать по привычке ложиться, но увидал скоро, что он не может спать... Ему и в голову не приходило, чтоб он был влюблен в Ростову; он не думал о ней; он только воображал ее себе, и вследствие этого вся жизнь его представлялась ему в новом свете».

То же самое происходит с Наташей: «Все равно я не буду спать. Что за глупости спать!» — говорит она матери.— «...такого со мной никогда не бывало!»

А князь Андрей в это время говорит Пьеру: «Никогда не испытывал ничего подобного... Я не жил прежде. Теперь только я живу, но я не могу жить без нее...»

На вечере у Бергов Пьер заметил, что Наташа «не только не была так хороша, как она была на бале, но она была бы дурна, ежели бы она не имела такого кроткого и равнодушного ко всему вида». Вошел князь Андрей — и «она вся преобразилась. Из дурной опять сделалась такою же, какою она была на бале».

Наташа не умеет все это определить, назвать словами. Князь Андрей умеет: «Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она и там все счастье, надежда, свет; другая половина — все, где ее нет, там все уныние и темнота...»

Чувствует Наташа так же, как он. Теперь вся ее жизнь до встречи с князем Андреем оказалась только ожиданием. Весь свой свет, всю радость, все добро, всю чуткость она копила для него. Она взяла на себя

ответственность за человека, которого полюбила. Поэтому «она постоянно угадывала» все его чувства, поэтому спрашивала себя: «Что он ищет во мне?.. Что, как нет во мне того, что он ищет этим взглядом?»

Двое нашли и полюбили друг друга. Но не может им быть легко, потому что за каждым из них — свой мир, и полюбить — одно, а понять — другое.

Умный, зрелый, знающий людей князь Андрей не понимает Наташу. «Для женитьбы нужно было согласие отца, и для этого на другой день князь Андрей уехал к отцу». Он не предупредил Наташу, что уезжает, даже не подумал об этом. Не мог себе представить, что из-за него, из-за его трехнедельного отсутствия Наташа, «как тень, праздная и унылая», будет бродить по комнатам и тайно плакать по ночам, и горевать, и об одном мечтать: чтобы ее оставили в покое, но знать: «сколько бы ни оставляли ее в покое, она уже не могла быть покойна...»

Та самая радость жизни, кипящая в Наташе, та самая радость жизни, которую полюбил в ней князь Андрей, заставляет ее так горько страдать. «Я не хочу... мучиться!» — кричит она матери, и это правда: ей не свойственно мучиться, ее характер не приспособлен к этому. Ей нужно счастье сейчас же, немедленно — и полное, безоблачное счастье: чтобы Он был все время с ней, здесь, рядом... Князь Андрей не понимает этого, хотя и он не может без нее жить, хотя и его лицо просияло, едва он снова увидел Наташу.

Спокойный князь Андрей может смириться с жестоким условием отца: отложить свадьбу на год, съездить за границу полечиться. Для Наташи это условие ужасно. Она не сразу поняла его, сразу ей было важно одно: неужели это правда, он любит ее, они будут муж и жена. Но, поняв, она плачет и повторяет: «Это ужасно! Нет, это ужасно, ужасно!.. Я умру, дожидаясь года...»

Кто виноват в том, что произойдет через несколько месяцев? Наташа, которая не дождалась; старый князь со своим жестоким упрямством; Андрей, подчинившийся отцу? Никто не виноват,— все жили, согласно своим характерам, и это не могло кончиться благополучно.

Если бы князь Андрей не уехал... Если бы княжна Марья и старый князь приветливо приняли Наташу...

Если бы не вмешалась Элен и не стала сводить брата с Наташей... Если бы не Анатоль...

И ничего они не значат, эти «если бы». О Наташе — позднее. Но князь Андрей оказался слишком рассудочен, слишком терпелив — он выбрал себе эту девушку, с этим радостно-счастливым оживлением, с этой жаждой жизни; эту девушку, понимавшую его, как никто до сих пор,— и он не понял, что ее-то нельзя заставлять ждать и мучиться.

Когда через полгода после его отъезда Наташа с потерянным лицом вошла в гостиную и сказала матери: «Его мне надо... сейчас, сию минуту мне его надо» — это была правда. Она ездила с Николаем на охоту и плясала у дядюшки, она казалась счастливой, но на самом деле ничто теперь не дает ей полного счастья; без него ей лес не лес, и снег не снег, и радость — не радость, потому что она любит.

Прощаясь с князем Андреем, она не плакала. «Не уезжайте! — только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого».

Вот в чем он виноват: много думал о своей любви и мало — о том, что чувствует она. А в любви нельзя думать только о себе, это неоспоримый закон, и его нарушил князь Андрей.

10. Наташа и Анатоль

Как это могло произойти? Наташа — с ее чуткостью, верным пониманием людей, с ее точным ощущением добра и зла, благородного и неблагородного,— Наташа не поняла Анатоля! Переполненная своей любовью к князю Андрею и ответственностью за него, Наташа — после всех мыслей о том, что ей уж теперь нельзя играть жизнью,— в какие-то несколько дней разрушила все свое счастье!

Может быть, первый удар Наташиной любви к Андрею нанесла Марья Дмитриевна — прекрасная, умная, благородная Марья Дмитриевна, искренне желающая Наташе добра.

«Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца!» — так начинает Марья Дмит-

риевна разговор с Наташей. Все, что она советует, разумно и правильно, но Наташе «было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его».

Это вмешательство — пусть самое доброжелательное — оскорбило Наташу своей будничностью. Но ее ждет другое вмешательство — недоброжелательное. На другой день произошла встреча с княжной Марьей. Наташа не сомневалась, что найдет ключ к сердцу отца и сестры Андрея. «Не может быть, чтобы они не полюбили меня,— думала она,— меня все всегда любили».

Княжна Марья хотела полюбить Наташу — и не могла; хотела говорить с ней о князе Андрее, но мешала мамзель Бурьен; а старик Болконский не только не хотел полюбить Наташу, но хотел оскорбить ее — и сделал это.

«Что тебе за дело до них?» — уговаривает Наташу Соня. Она-то умеет любить Николая наперекор воле его матери, любить его в долгих разлуках. Наташа этого не умеет, потому что она слишком сильно и слишком деятельно любит. «Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания...»

Всю жизнь Наташа ждала ЕГО — и он пришел, сбылись все мечты, а потом он уехал надолго, и жизнь остановилась. Еще в Отрадном, на святках, Наташа мучилась мыслью, что вот так, никуда уходят ее лучшие дни, месяцы; они пусты, прожитые без любви. «Боже мой! ежели бы он был тут, тогда бы я не так, как прежде, с какой-то глупой робостью перед чем-то, а по-новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня...» — так думает она, глядя на себя в зеркало перед поездкой в театр, где встретит Анатоля. Ей уже мало знать, что она любима, ей нужно ежеминутное восхищение, нужны слова любви, а князя Андрея нет, и появляется Анатоль, который как раз это-то и может ей дать: восхищение, взгляды, слова (придуманные за него Долоховым).

Ничего того, что любил в Наташе князь Андрей, Анатоль не видит. Она возбуждает в нем то же «зверское чувство», которое в Лысых Горах бросило его к глупой хорошенькой мамзель Бурьен. «Он за ужином после театра с приемами знатока разобрал перед Доло-

ховым достоинство ее рук, плеч, ног и волос и объявил свое решение приволокнуться за нею. Что могло выйти из этого ухаживания — Анатоль не мог обдумать и знать, как он никогда не знал того, что выйдет из каждого его поступка». И тут вмешивается Элен. Без ее помощи Анатоль, вероятно, не мог бы так молниеносно устроить свидание с Наташей наедине, и не было бы у Наташи ощущения, что «вся прежняя чистота любви ее к князю Андрею погибла».

Элен и Анатоль потому и сильны, что в человеке живут не только светлые, но и темные силы. На эти темные силы опираются брат и сестра Курагины; Пьер ведь знал, что в его чувстве к Элен есть «что-то гадкое... что-то запрещенное», но не умел бороться с собой и горько расплатился за это. Теперь он опять живет под одной крышей с Элен: почувствовав, что в глазах света лучше иметь мужа, чем жить одной, она умела настоять на своем. Пьер несет свой крест, но он не знает, что ему придется расплатиться за свою ошибку не только собственным несчастьем.

Если бы Пьер мог представить себе, что его имя, его добрый взгляд, доверие Наташи к нему сыграют роль в ее отношениях с Анатолем! Если бы он мог предвидеть, что Наташа поддастся влиянию Элен, думая, что она с Пьером — одно: «стало быть, и они с мужем, с Пьером, с этим справедливым Пьером... говорили и смеялись про это. Стало быть, это ничего»,— будет думать Наташа, когда Элен станет сводить ее с Анатолем.

Наташе семнадцать лет, она не знает людей, даже не представляет себе, что они могут быть низки... Князь Андрей столько раз повторял ей, что она свободна... Она не сомневается в благородстве Анатоля, в том, что он женится на ней. Но за каждую свою ошибку она расплачивается сполна. Никто не может осудить ее суровее, чем это сделает она сама, когда опомнится и поймет, что натворила.

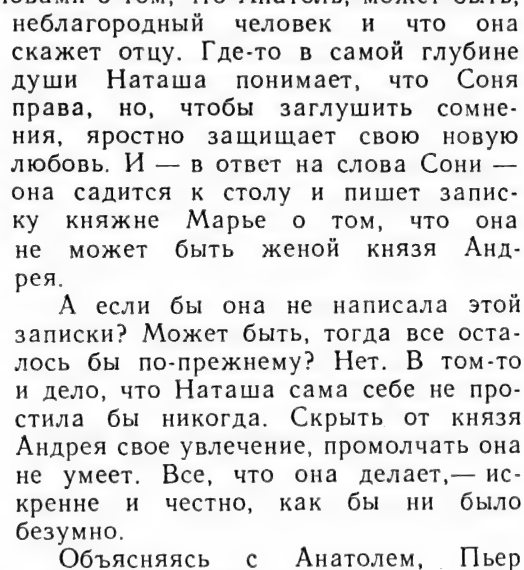
Вот почему мы прощаем Наташе все: она сама не прощает себя. С первой минуты увлечения Анатолем она приходит в ужас, хотя не знает об Анатоле того, что знаем мы. Недаром еще девочкой она думала о том, как можно и как нельзя жить; ее пугает, что между нею и Анатолем «совсем нет той преграды стыдливости, которую всегда она чувствовала между собой и другими

мужчинами». Еще ничего непоправимого не произошло, но, приехав домой, Наташа «при всех за чаем... громко ахнула и, раскрасневшись, выбежала из комнаты». Тем самым своим нравственным чутьем, которое она копила всю жизнь, Наташа понимает, что происходит неправильное. Но понимает она. это, оставшись одна. А в театре, «под тенью этой Элен, там это было все ясно и просто».

Тень «этой Элен» ложится на Наташу — и, попав в ее дом, она чувствует себя «вполне безвозвратно в том странном, безумном мире, столь далеком от прежнего, в том мире, в котором нельзя было знать, что хорошо, что дурно, что разумно и что безумно».

Но безумие уже овладело ею. Когда Марья Дмитриевна предложила Ростовым уехать в Отрадное и ждать там князя Андрея, Наташа вскрикнула: «Ах, нет!» — она уже не может уехать от Анатоля.

Последний удар Наташе нанесла Соня — своими справедливыми словами о том, что Анатоль, может быть,





неблагородный человек и что она скажет отцу. Где-то в самой глубине души Наташа понимает, что Соня права, но, чтобы заглушить сомнения, яростно защищает свою новую любовь. И — в ответ на слова Сони — она садится к столу и пишет записку княжне Марье о том, что она не может быть женой князя Андрея.

А если бы она не написала этой записки? Может быть, тогда все осталось бы по-прежнему? Нет. В том-то и дело, что Наташа сама себе не простила бы никогда. Скрыть от князя Андрея свое увлечение, промолчать она не умеет. Все, что она делает,— искренне и честно, как бы ни было безумно.

Объясняясь с Анатолем, Пьер скажет ему: «Вы не можете не понять наконец, что, кроме вашего удовольствия, есть счастье, спокойствие других людей, что вы губите целую жизнь из того, что вам хочется веселиться...» Анатоль отве-

тит ему: «Этого я не знаю и знать не хочу». А Наташа — з н а е т. Она не может не думать о князе Андрее и о том, какое горе принесла ему. Она не может жить, подчиняясь слепым и темным силам в себе; Анатолю и Элен такая жизнь приносит счастье и спокойствие, но для Наташи она — трагедия.

11. Соня

Мне всегда жалко, что Соня не вышла замуж за Долохова. Может быть, своей преданностью, своим самопожертвованием она действительно возродила бы и очистила его. Ведь умеет же он любить мать, своего «обожаемого ангела» — Соня заслужила такую же любовь, и были бы они счастливы...

Но это невозможно, потому что невозможно. Долохов влюбился в Соню именно из-за того, что увидел, как верно и преданно она умеет любить. Если бы сердце Сони было свободно, Долохов, может, и не заметил бы ее. А теперь она была бы другим человеком, если бы разлюбила Николая и отдала свое сердце Долохову.

Одна девятиклассница написала сочинение о том, что Соня — лучшая из всех женщин в «Войне и мире». Она лучше Наташи, непрестанно меняющей свои привязанности, лучше княжны Марьи, в которой иногда просыпаются нетерпимость, властность и резкость отца; Соня — цельный человек, верный и чистый; она никогда, ни разу на протяжении всего романа не совершит никакой ошибки; пятнадцать лет ее жизни пройдут перед нами — она не изменится, останется той же...

Все это — правда. Но все-таки многое в поведении Сони удивляет и огорчает нас. Ведь есть же у нее нормальные человеческие чувства: ревность к Жюли, потом к княжне Марье, обида на старую графиню, мешающую ее браку с Николаем. Она подавляет в себе эти чувства, она с л и ш к о м хорошо владеет собой.

Первое ее появление настораживает: «тоненькая, миниатюрненькая брюнетка... напоминала красивого, но еще не сформировавшегося котенка, который будет прелестною кошечкой». Эти уменьшительные суффиксы, это сравнение с кошечкой, которую она напоминала не только

«мягкостью и гибкостью маленьких членов», но и «несколько хитрою и сдержанною манерой...»

Кстати сказать, никакой хитрости мы в ней не увидим. Она — только в манере, во внешнем. Но с первых строк о Соне Толстой несколько принижает ее — зачем?

Затем, что, по Толстому, безгрешен не тот, кто без греха, и чист не тот, кто не ошибается. Важна чистота души, а она рождается в преодолении ошибок и заблуждений. Потому Толстой и любит больше Наташу, чем Соню; потому княжна Марья непрестанно борется с искушениями, и ужасается греховности своих мыслей, и снова думает, и снова осуждает себя.

Вера Ростова сказала однажды: «В моих поступках никогда ничего не может быть дурного». Соня не думает и не говорит о себе так, но эти слова можно сказать и о ней: в ее поступках никогда ничего не может быть дурного. Ее мир строг и ясен: влюбившись в Николая девочкой, она твердо знает: «что бы ни случилось с ним, со мной, я никогда не перестану любить его — во всю жизнь».

А Николаю мало ее верной, преданной, тихой любви! Приехав домой в отпуск, он застает шестнадцатилетнюю Соню расцветшей, похорошевшей, по-прежнему любящей и благородной: через посольство Наташи она передает ему, что будет любить его всегда, а он пусть будет свободен от данного полгода назад слова. «Ростов видел, что все это было хорошо придумано ими. Соня... поразила его своей красотой... Отчего же ему было не любить ее и не жениться даже, думал Ростов, но не теперь. *Теперь столько еще других радостей и занятий!»* (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Мыслимо ли себе представить, чтобы человек, влюбленный в Наташу (даже Анатоль), видел в жизни «столько еще других радостей и занятий!» С Наташей не может быть скучно; она всякую минуту живет полной жизнью и вовлекает в эту жизнь всех вокруг. Соня срисовывает узоры — таково ее постоянное занятие.

Николай не восхищается ею, как Денисов восхищался Наташей; не делит мир на две половины: где она — там счастье, где ее нет — там уныние и темнота, как делил князь Андрей; Николай не испытывает к ней даже того зверского чувства, которое возбуждает Наташа в Анатоле; его трогает Сонина преданность, ее покорная любовь, но ведь этого все-таки мало, чтобы любить.

Наташа, Николай и Соня вспоминают детство. «Соня не помнила многого из того, что они помнили, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее».

Наташа вынесла свечу, стало темно; шепотом Наташа сказала: «Знаешь, я думаю... что когда этак вспоминаешь, вспоминаешь, все вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете.

— Это метампсикоза,— сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила».

Хорошо училась и все помнила — а вот же забыла детство, не может разделить поэтического чувства Наташи и Николая. Как это мало — помнить умом и не уметь воображать, фантазировать, помнить сердцем!

Один-единственный раз Соня что-то выдумала. Объективно — она солгала. Но эта ложь рождена вдохновеньем. На святках, в тот же вечер, когда Наташа и Николай вспоминали и философствовали, поздно ночью девушки решили гадать по зеркалам.

Наташа ничего не увидела — и Соня не увидела. Но она вскрикнула, устав смотреть в зеркало, и невольно сказала: «Я... видела его» — а потом сама поверила, что видела князя Андрея, и рассказала подробности.



Этот приступ вдохновенья был вызван тем, что произошло в тот же вечер. Пришли ряженые — молодые Ростовы тоже переоделись. Соня находилась «в несвойственном ей оживленно-энергическом настроении», и ночь была сказочная, и Николай, со своей способностью поддаваться поэзии музыки и природы, был взволнован этой ночью и близостью Сони.

Таинственной, сказочной ночью все приехали к соседям. Зашел разговор о том, что в бане гадать страшно. Кто-то сказал:

«— Да не пойдете, тут надо храбрость...

— Я пойду,— сказала Соня».

Каждый раз, читая это место, удивляешься: как Соня? Это могла сказать Наташа, не Соня!

И она пошла, а Николай выскочил на крыльцо, встретил ее у амбара, они поцеловались... В этот вечер Николай увидел совсем новую Соню. «Так вот она какая, а я-то дурак!» — думал он. Но она не такая. Один только раз в ней проснулась Наташа и сразу спряталась, и больше не показывалась. А может, показалась бы и расцвела, если бы Николай больше любил ее, не уезжал так надолго? И главное; какой была бы Соня на месте Наташи или княжны Марьи, если бы не приучила себя всю жизнь смиряться, терпеть, покоряться?

Положение Сони в доме Ростовых — при всей их доброте — незавидное. Она училась вместе с Наташей, ее так же одевали, так же кормили, как родную дочь, но сама Соня не могла чувствовать себя равной девочкам Ростовым, она оставалась бедной родственницей и всю жизнь чувствовала себя облагодетельствованной.

Именно поэтому она слишком хорошо владеет собой, именно поэтому, узнав о Наташином увлечении Анатолем, Соня подумала: «Теперь или никогда пришло время доказать, что я помню благодеяния их семейства...»

И любовь Сони к Николаю могла бы быть иной, более яркой, более страстной, если бы не то положение в доме, которое заставляло бедную племянницу бояться то Веры, то старой графини. Любовь ее бескрылая, но, может быть, именно потому, что ей с самого начала подрезали крылья?

Только один раз, на святках, в Соне проснулась смелая и свободная девушка, но больше никогда Соня не была такой, как в этот вечер, и вернулась к своим узорам, к своему тихому самопожертвованию.

В эпилоге Наташа скажет о ней: «пустоцвет» — и в этом слове будет жестокая правда. С самого начала, с детства, она не имела права на ту полноту чувств, которая переполняет Наташу. И в конце романа Толстой вернется к тому сравнению, с которым Соня появилась на первых страницах: «Она дорожила, казалось, не столько людьми, сколько всей семьей. Она,

как кошка, прижилась не к людям, а к дому. Она ухаживала за старой графиней, ласкала и баловала детей, всегда была готова оказать те мелкие услуги, на которые она была способна; но все это принималось невольно с слишком слабою благодарностию...» (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Жалко Соню. Так сложилось, что жизнь ее и вправду оказалась пустой, но если вдуматься, разве она виновата в этом?

12. Комета 1812 года

Когда Соня перечисляла Наташе людей, для которых ее увлечение Анатолем будет горем, трагедией, она назвала Болконского, отца и Николая. Это верно: жених, отец и брат были в опасности: каждый из них, даже старый граф, если бы от него не скрыли правду о попытке похищения, счел бы своим долгом вызвать Анатоля на дуэль, и кто знает, чем это могло бы кончиться.

Но есть еще один человек, для которого вся история Наташи и Анатоля — страшный удар. И этого-то человека призывает Марья Дмитриевна, потому что он друг Наташи и друг князя Андрея, потому что он честен, добр и ему можно доверить тайну

Этот человек — Пьер. В те быстрые дни, когда Элен, используя его имя, сводила Наташу с Анатолем, Пьер уезжал в Тверь. Если бы он был в салоне Элен в тот вечер, когда туда пригласили Наташу... Но его не было...

Как жил Пьер эти последние три года? Мы расстались с ним в Лысых Горах, куда его привез князь Андрей; он полюбился всем, даже старому князю; он был полон сил и увлечен своей масонской деятельностью. Но разговор с князем Андреем произвел на него впечатление. Вернувшись в Петербург, он пристальнее всмотрелся в масонов. По-прежнему он стоял во главе петербургской ложи, вербовал членов, давал деньги. Но постепенно он «начал чувствовать, как та почва масонства, на которой он стоял, тем более уходила из-под его ног, чем тверже он старался стать на ней...»

Он уже понял, что есть среди масонов люди, «ни во что не верующие, ничего не желающие и поступавшие в масонство только для сближения с молодыми,

богатыми и сильными по связям и знатности братьями, которых весьма много было в ложе».

В сущности, с этого начался его разрыв с масонством, хотя он оставался в ложе, по-прежнему уважал Баздеева, слушался его и советовался с ним. Но Пьер опять испытал безысходную тоску, и снова его мучил все тот же вопрос: как жить?

Он смирился: «перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить... Как бы он ужаснулся, если бы семь лет тому назад, когда он только приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что... его колея давно пробита... и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении... вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и, расстегнувшись, побранить слегка правительство...»

Но еще большие испытания предстояли ему, и большие горести, и большая любовь. Сам того не зная, он всю свою жизнь любил Наташу — с тех пор, как он, двадцатилетний, нелепый, сидел за парадным столом у Ростовых, и взгляд «смешной оживленной девочки» иногда обращался на него; с тех пор, как он танцевал с этой девочкой, играющей в большую, и она руководила им, не давая спутать фигуры,— с тех пор он любил одну ее. Поэтому он так зорко увидел то важное, что происходило между нею и Болконским, и радовался его счастью, и, сам не зная, отчего, мрачнел, и безотрадной представлялась ему его будущая жизнь.

«В глазах света Пьер был большой барин... умный чудак, ничего не делающий, но и никому не вредящий, славный и добрый малый. В душе же Пьера происходила за все это время сложная и трудная работа внутреннего развития, открывшая ему многое и приведшая его ко многим духовным сомнениям и радостям».

В молодости кажется, что нужно — и можно! — раз навсегда решить все вопросы, что вот пройдет проклятый «переходный» возраст, когда мучаешься, зачем живешь, и дальше все пойдет ясно и просто. Это не так. Ясно и просто живут люди недалекие — такие, как Николай Ростов. Значительный человек проходит не один «переходный возраст» и проживает не одну жизнь — вот Пьер был буяном из компании Долохова, счастливым миллионером, увлеченным масоном... Это все были разные жизни. Сейчас он — отставной камергер, в Москве

ему «покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате»,— такова еще одна его жизнь, но и она — не последняя.

В этой своей жизни он старается почаще уезжать из дома, чтобы не видеть Элен. И вот, вернувшись из поездки в Тверь, он явился по вызову Марьи Дмитриевны и услышал то, что она ему рассказала.

«Пьер, приподняв плечи и разинув рот, слушал то, что говорила ему Марья Дмитриевна, не веря своим ушам... Милое впечатление Наташи, которую он знал с детства, не могло соединиться в его душе с новым пред-



ставлением о ее низости, глупости и жестокости. Он вспомнил о своей жене. «Все они одни и те же»,— сказал он сам себе...»

Вот что сделала Наташа — дала Пьеру повод думать: «Все они одни и те же». Это неправда! Наташа не такая, как Элен, и мы знаем это, и Пьер скоро поймет, но князь Андрей долго еще не поймет этого.

Когда, уезжая, он повторял Наташе, что она свободна, что она может вернуть ему данное слово, может полюбить другого,— он, конечно, не верил, что она его разлюбит. Но, преодолевая себя, он допускал мысль, что кто-то достойный встретится Наташе, добьется ее любви, сделает ей предложение... Это было бы больно. Но такого унижения, какое приготовила ему Наташа, князь Андрей не мог ждать. Кого ему предпочли? Мерзавца и дурака Анатоля, который, к тому же, «не удостоил своей руки графиню Ростову...»

Он оскорблен, унижен, раздавлен — скрывает это от всех и все-таки не может скрыть от Пьера. Характер отца просыпается в нем: услышав о болезни Наташи, «он холодно, зло, неприятно, как его отец, усмехнулся», при упоминании об Анатоле «неприятно засмеялся, опять напоминая своего отца», он даже с Пьером заговорил на «вы»: «ваш шурин».

Пьер подумал: «Все они одни и те же», но, увидев Наташу, которая «как подстреленный, загнанный зверь смотрела на него, он пожалел ее. Приехав к князю Андрею, он наивно спросил княжну Марью: «Но неужели совершенно все кончено?»

Конечно, княжна Марья и старый князь, и раньше не желавшие этого брака, теперь полны злобы и презрения к Наташе. Это понятно. Но князь Андрей — он любил ее, неужели он не может простить?

Как ни странно, Пьер теперь более мудр и зрел, чем его друг. Он бы простил, потому что он видит, как Наташа мучается и казнит себя. Он бы простил еще и потому, что разлюбить Наташу он все равно не может, что бы она ни делала. Он бы простил потому, что его любовь к Наташе сильнее гордости и самолюбия.

Князь Андрей не прощает: «Я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу... Ежели ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это».

Семь лет назад князь Андрей сказал Пьеру о своей жене Лизе: «Это одна из тех редких женщин, с которою можно быть покойным за свою честь; но, боже мой, чего бы я не дал теперь, чтобы не быть женатым!» С Лизой он не был счастлив; с Наташей счастье могло быть таким полным, но, оказывается, с ней нельзя быть покойным за свою честь!

Так понимает князь Андрей; такова его правда. Но есть другая правда: когда любишь, нельзя думать только о себе. Князь Андрей не умел думать о Наташе, за нее — с этого началась трагедия. Теперь, отказавшись простить, он опять думает только о себе.

Так он и останется один, со своим тайным горем и со своей гордостью, а тем временем наступил новый год, 1812-й, и в небе стоит странная яркая комета, предвещающая беду,— комета 1812 года. Пьер видит комету, возвращаясь от Наташи. Он понял то, чего не хочет понять Андрей: Наташа осталась собой. Униженная, измученная, она не ждет уже ничего для себя, но терзается за князя Андрея. Она-то умеет думать о другом больше, чем о себе. «Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить, простить, простить меня за все...» Так говорит она Пьеру, и в ответ на это у Пьера невольно вырываются слова, которых ни он, ни она никогда не забудут: «Ежели бы я был не я, а красивейший, умнейший и лучший человек в мире и был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей».

С этими словами Пьер входит в 1812 год,— он не знает еще, что его тягостная жизнь отставного камергера, московского барина на покое кончилась. Впереди — еще одна жизнь в занятой французами Москве, с мечтой убить Наполеона; и еще одна — в плену, под влиянием Платона Каратаева; а потом — возродившаяся любовь к Наташе, семья, дети; и еще раз — духовное обновление, новое братство петербургских молодых людей, названное позже декабристским; и целая жизнь одного дня — 14 декабря 1825 года, и долгая жизнь каторги, и новая жизнь возвращения...

Он пройдет через много жизней, граф Петр Кириллович Безухов, он будет горько несчастлив еще не раз, но он проживет полную, переполненную, многоликую, свою единственную данную ему жизнь, потому что он не останавливается, ищет, потому что живет он душою.



— Позвольте спросить,— обратился Пьер к офицеру,— это какая деревня впереди?

— Бурдино или как? — сказал офицер, с вопросом обращаясь к своему товарищу.

— Бородино,— поправляя, отвечал другой.

1. Два императора

С первых страниц «Войны и мира» мы слышали о Наполеоне. Он занимал воображение гостей Анны Павловны Шерер; о нем спорили, его ненавидели, им восхищались... Потом мы видели его на поле Аустерлица, над раненым князем Андреем, и еще раз — в Тильзите, когда из узурпатора и врага Александра I он превратился в его царственного брата. Мы знаем, что он был героем и олицетворением французской революции для Пьера, чудовищем — для светских дам и французских эмигрантов, что князь Андрей преклонялся перед его военным гением и блестящей судьбой...

Мы слышали о Наполеоне и видели его глазами героев романа. Но только в третьем томе мы увидим его глазами Толстого — и этот Наполеон — новый, неожиданный для нас, потому что Толстой видит его не так, как Пьер или князь Андрей, не так, как Анна Павловна и ее гости, и не так, как видели его Пушкин и Лермонтов.

Чудесный жребий совершился,
Угас великий человек,—

писал Пушкин в год смерти Наполеона, за сорок лет до начала работы Толстого над «Войной и миром». Пуш-

кинский Наполеон — «под шляпой с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом» — властитель дум целого поколения, романтический герой. Таков же он у Лермонтова: «на нем треугольная шляпа и серый походный сюртук», «на берег большими шагами он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет...»

Таким представляли себе Наполеона князь Андрей и Пьер, таким знала его поверженная Европа. У Толстого он, на первый взгляд, тоже такой: «Войска знали о присутствии императора, искали его глазами, и, когда находили на горе перед палаткой *отделившуюся от свиты фигуру в сюртуке и шляпе*, они кидали вверх шапки, кричали: «Vive l'Empereur...» *На всех лицах этих людей было одно общее выражение радости* о начале давно ожидаемого похода и *восторга и преданности к человеку в сером сюртуке,* стоявшему на горе». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Таков Наполеон Толстого 12 июня 1812 года — в день, когда он приказал своим войскам переходить реку Неман и тем самым начал войну с Россией.

Но уже через несколько строк Наполеон станет другим, потому что для Толстого он прежде всего — воплощение войны, а война есть «противное человеческому разуму и человеческой природе событие».

В третьем томе Толстой не станет скрывать своей ненависти к Наполеону, он даст волю сарказму, будет зло издеваться над человеком, возбуждавшим обожание тысяч людей. За что Толстой так ненавидит Наполеона?

«Для него было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения... Человек сорок улан потонуло в реке... Большинство прибилось назад к этому берегу... Но как только они вылезли... они закричали: «Виват!», восторженно глядя на то место, где стоял Наполеон, но где его уже не было, и в ту минуту считали себя счастливыми».

Все это не нравится Толстому — более того, возмущает его. Наполеон д о п у с к а е т, чтобы люди бессмысленно погибали в волнах из преданности ему. Наполеон позволил себе привыкнуть к мысли, что он — почти божество, что он м о ж е т и д о л ж е н вершить

судьбы других людей, обрекать их на гибель, делать их счастливыми или несчастными... Толстой знает: такое понимание власти всегда приводит к преступлению, всегда несет зло. Поэтому он ставит перед собой задачу развенчать Наполеона, разрушить легенду о его необыкновенности.

Первая наша встреча с Наполеоном состоялась на берегу Немана. Вторая — в Вильне, в том самом доме, где еще четыре дня назад жил Александр I. Наполеон принимает посланца русского царя в той самой комнате, откуда его отправлял Александр.

Толстой описывает Наполеона без малейших искажений — точно таким, каков был император Франции в 1812 году, когда ему исполнилось сорок три года. «Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на *круглый живот,* в белых лосинах, обтягивающих *жирные ляжки коротких ног,* и в ботфортах... *Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью* имела тот представительный, осанистый вид, который всегда имеют живущие в холе сорокалетние люди». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Все — правда. И круглый живот, и короткие ноги, и толстые плечи. Именно таким был в 1812 году этот прежде легкий, худощавый человек. Но тысячи людей не замечали, не хотели видеть в нем ничего некрасивого — он был для них кумиром, полубогом. Даже физический недостаток Наполеона: когда он волновался, у него начинала дрожать левая нога,— даже это представлялось особенностью, выделяющей его среди других людей и потому прекрасной.

Толстой ничего не искажает, но многое подчеркивает. Он несколько раз говорит о «дрожанье икры в левой ноге Наполеона», еще и еще раз напоминает о его толщине, «короткой фигуре». Ничего необыкновенного не хочет видеть Толстой. Человек, как все, в свой срок погрузневший; просто человек, позволивший себе поверить, что он не такой, как другие люди. А из этого вытекает еще одно свойство, ненавистное Толстому,— неестественность. В портрете Наполеона, вышедшего навстречу посланцу русского царя, настойчиво подчеркнута его склонность д е л а т ь с е б я: он только что причесался, но «одна прядь волос спускалась книзу над серединой широкого лба» — это была известная всему миру

прическа Наполеона, ей подражали, ее нужно было сохранять. Даже то, что от него пахло одеколоном, вызывает гнев Толстого, потому что означает, что Наполеон очень занят собой и тем впечатлением, которое он производит на окружающих.

«Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что *он* делал это». (Курсив Толстого.)

Таков Наполеон Толстого. Не только не величественный, но смешной и нелепый в своем убеждении, что история движется его волей, что все люди не могут на него не молиться. Вместо героической и трагической личности, какую мы видели у Пушкина и Лермонтова,— круглый человечек с пухлыми маленькими руками (а у Лермонтова — «могучие руки»), не в походной форме, известной всему миру, а в нарядном мундире, пахнущий одеколоном...

Где же правда? Чей Наполеон настоящий? Оба настоящие. И даже не оба, а десятки, может быть, сотни Наполеонов, описанных разными писателями, историками, мемуаристами, похожие и непохожие друг на друга,— все настоящие.

В Наполеоне был и тот великий человек, герой, была та неповторимая личность, какую видели в нем его солдаты, генералы, влюбленные в него писатели, был и тот самовлюбленный человек, какого написал Толстой. В каждом из нас живет не один человек, в нашем «я» борется несколько начал, и в крупных людях эта борьба острее и заметнее.

Литература не протокол, она не может и не должна быть вполне объективной. Кроме исторической личности, которую описывает автор, в книге всегда видна и личность автора: Пугачев в «Капитанской дочке» открывает нам не только Пугачева, но и Пушкина, как Кутузов в «Войне и мире» — не только Кутузова, но и Толстого. Толстой видел Наполеона так, а не иначе, потому что у него была своя теория войны, свое понимание истории — их-то мы начинаем постигать, вглядываясь в описанных им исторических деятелей.

Мы помним, каков Александр I у Пушкина. Мальчиком-лицеистом он дерзко смеялся над всевластным

царем: «Под Аустерлицем он бежал, в двенадцатом году дрожал». Зрелый Пушкин — после смерти Александра I, после декабрьского восстания — напишет знаменитые четыре строки; каждое слово в них продумано, выверено целой жизнью:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,
Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда.

У Толстого Александр не такой. Мы помним его на смотре войск перед Аустерлицем: молодой, красивый, возбуждающий поклонение офицеров... И даже после разгрома Аустерлица — растерянный, но величественный, и по-прежнему Николай Ростов обожает его, и в Тильзите толпа бежит за ним, преклоняясь и восхищаясь; у него прекрасные голубые глаза, он весь — величие, и невозможно себе представить, чтобы о нем можно было сказать: «плешивый щеголь»!

Но с первых же страниц третьего тома «Войны и мира» император Александр начинает напоминать пушкинскую характеристику. Раньше мы видели Александра, как и Наполеона, глазами героев романа — прежде всего влюбленного в него Николая Ростова. Теперь мы смотрим на царя с другой точки зрения — глазами Толстого.

В то самое время, как войска Наполеона стояли на берегу Немана, ожидая только приказа, чтобы начать войну, «русский император... более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали и для приготовления к которой император приехал из Петербурга... Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне».

Когда пришло известие о переходе войск Наполеона через русскую границу, Александр I был на бале. Мы прочли первые две главы, видели Наполеона в походном сюртуке, сидевшего на берегу Немана, и людей, гибнущих в волнах, и всю громаду французской армии; мы уже поняли серьезность происходящего — начиная читать третью главу, мы с трудом заставляем себя вернуться в призрачный мир, окружающий русского царя;

«веселый, блестящий праздник»; графиня Элен Безухова со своей «тяжелой, так называемой русской красотой», ее «блестящие обнаженные плечи, выступавшие из темного газового с золотом платья». И царь, который, заметив Элен, удостоил ее танцем, и Борис Друбецкой, не спускающий глаз с царя... Трудно представить себе все это, зная, что пушки Наполеона уже глядят своими жерлами на город, где танцует Элен, и французская кавалерия скачет по русской земле, и движутся пехотинцы...

«Без объявления войны вступить в Россию. Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле»,— сказал Александр I Балашеву и настаивал, чтобы эти слова непременно были переданы Наполеону. Александр гордился этими словами, но умный Балашев не передал их: «какое-то сложное чувство удержало его». Ведь и сам Александр не написал этих слов в письме, отправленном с Балашевым, потому что еще надеялся помириться и предотвратить войну.

Толстой не называет русского царя «плешивым щеголем», но и у него он «властитель слабый и лукавый».



Сказать красивую фразу он может, а войска к войне не готовы, окружающие царя люди заняты своей карьерой; армия состоит из трех частей, не имеющих общего главнокомандующего, и царь колеблется, не знает, принять ли на себя это звание.

Правда все это или Толстой намеренно сгустил краски, а на самом деле Александр I не был так беспомощен и легкомыслен?

Известие о войне действительно застало царя на бале. Но ведь от Толстого зависело, сказать об этом читателю или показать Александра не в этот день, а, скажем, назавтра, когда он совещался с генералами. Это тоже была бы правда, но писатель выбрал ту правду, которая помогала ему подтвердить свое понимание истории.

Наполеон и Александр I — разные люди, разного типа властители. Но оба они, по мнению Толстого, несут людям зло тем, что считают себя вправе решать судьбы народов.

Наполеон посылает свои полки в Россию, Александр в это время танцует на бале и произносит громкие фразы — но оба они, считает Толстой, ничего не определяют в движении истории, потому что она движется не волей императоров и полководцев, а обычной повседневной жизнью народа. Власть обоих императоров только мешает естественной жизни народа.

Мы далеко не во всем можем согласиться с философией истории, созданной Толстым. Но в его теории есть нечто очень привлекательное. Если история складывается из отдельных поступков отдельных людей, то каждый человек несет громадную ответственность за все, что происходит на земле,— каждый, а не только Наполеон или Александр I. Значит, и Пьер, и князь Андрей, и Наташа решали судьбу своей страны, значит, и каждый из нас решает ее своей жизнью.

2. *Чем живет человек?*

Война началась — она уже перевернула, сломала жизнь тысяч людей, но люди еще не знают об этом, еще живут своими прежними, мирными интересами. Никто еще не понимает, что нынешняя война — не та, ка-

кая была в 1805 году, она никого не минует, в ней придется участвовать всем.

Кутузов — тот, кто через несколько месяцев станет во главе всей армии, еще праздно и вольно живет в Молдавии, «проводя дни и ночи у своей валашки», и князь Андрей Болконский раздражает его «своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности».

Но в «озабоченно-хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности» князя Андрея тоже еще нет того чувства, которое проснется в нем, когда войска Наполеона пойдут по России, подойдут к его дому... Князь Андрей меньше думает о войне, чем о своем горе; измена Наташи «тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие». И в турецкую армию он попал в поисках Курагина: не найдя его в Петербурге и узнав, что Анатоль уехал в Молдавию, князь Андрей принял приглашение Кутузова ехать туда же.

В поведении князя Андрея не все понятно нам сегодня. Почему он так стремится к дуэли с Анатолем, ведь Наташа не была еще его женой, даже не было официально объявлено о помолвке, ведь он сам много раз повторял Наташе, что она свободна...

Если бы Анатоль женился на Наташе, князь Андрей страдал бы не меньше, и его самолюбие было бы уязвлено тем, что ему предпочли другого, но у него не было бы оснований вызвать Анатоля на дуэль. Теперь же он оскорблен жестоко — и за себя, и за девушку, которую любил: попытка Анатоля увезти Наташу — бесчестье для нее. Понимая, что Наташа стала забавой для ничтожного человека, что и его жизнь сломана по прихоти пошлого негодяя, князь Андрей терзается мыслью, что «оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита».

Но почему же тогда он не посылает письменного вызова Анатолю, а ищет личной встречи с ним? «Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову».

Кодекс чести, по которому живет князь Андрей Болконский, может сегодня показаться устаревшим. Почему он должен заботиться о чести обманувшей его девушки? Какое ему дело до нее, разве она думала о нем, когда собиралась бежать с Анатолем?

Даже оскорбленный, даже униженный, князь Андрей не может унизить женщину. Честь Наташи остается для него священной, он бы себя не уважал, если бы запятнал Наташино имя, он не Анатоль.

Когда Марья Дмитриевна решилась скрыть правду от старого графа Ростова и Николая, чтобы не допустить дуэли одного из них с Анатолем, она боялась не только за их жизнь — она считала себя обязанной пресечь разговоры о Наташе.

Когда Пьер ходил по залам Английского клуба и опровергал сплетни о похищении Наташи, он думал о том же: нельзя, чтобы Наташино имя повторялось чужими злыми языками.

Дуэль князя Андрея с Анатолем неизбежно вызвала бы новую волну слухов, а князь Андрей знает твердо: нельзя бросить тень на Наташу. Поэтому положение его так сложно: он не может не отомстить Анатолю, но не должен допустить разговоров о Наташе. Единственный выход для него — личная встреча с Анатолем, ссора, оскорбление; такая дуэль, которая хотя бы внешне не затрагивала Наташу.

Только это волнует его сейчас, только своим мщением он живет. Но война началась — и как бы ни был князь Андрей занят своими страданиями, он просится у Кутузова в западную армию и едет, и по дороге заезжает домой, в Лысые Горы.

А там все, как прежде, и это впервые раздражает князя Андрея: «его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей — точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома».

Но это только внешнее впечатление — на самом-то деле изменилось многое. «Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой...»

Плохо в старом доме Болконских. Князь Николай Андреевич отдалил от себя дочь, он мучает ее и знает это, он чувствует свою вину и пытается оправдаться перед сыном. Но сын не хочет понять отца — впервые в жизни он осуждает его, и разговор кончается ссорой.

Кто прав в этой ссоре, кто виноват? Ведь разлад в семье начался со сватовства князя Андрея к Наташе,— старый князь не верил в Наташу и оказался прав!

Эта его трагическая правота до сих пор стоит между отцом и сыном, до сих пор они не простили Наташу друг другу. Ведь это из-за нее у старого князя возникла злобная мысль: если Андрей приведет мачеху Николеньке, пусть и у него будет мачеха. «Женюсь на Бурьен, чем не княгиня!» Наперекор сыну он приблизил к себе Бурьен и отдалил дочь, сын вынудил его на это, а теперь осуждает его!

Но, конечно, о подлинных причинах разлада — ни слова. Старик говорит о бестолковом характере дочери, князь Андрей — о том, что Бурьен — ничтожная женщина...

Поссорившись с отцом, князь Андрей уезжает на войну. Он не думает о войне, он занят мыслями о своем горе, о своем сыне: «Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим...» Нет в его душе места войне, он живет в том же мучительном, замкнутом круге мыслей о Наташе и ее измене — так он приезжает в лагерь Барклая де Толли.

Наташа тоже не думает о войне. Пережив долгие месяцы отчаяния и болезни, Наташа почувствовала, что «молодость брала свое: горе... начало покрываться слоем впечатлений прожитой жизни, оно перестало такой мучительной болью лежать ей на сердце, начинало становиться прошедшим...»

Больше всех помог ей Пьер. Наташа боялась вернуться к жизни: «внутренний страж твердо воспрещал ей всякую радость», и это значит, что она осталась собой — той самой Наташей, которая всегда хотела понять, что плохо и что хорошо, хотела жить правильно и мучилась от сознания, что между нею и Анатолем нет нравственных преград.

Теперь нравственная преграда возникла между Наташей и всеми радостями жизни — она не пела, не смеялась, «все мужчины были для нее совершенно то же, что шут Настасья Ивановна».

Один Пьер мог преодолеть эту преграду, и не потому, что у него вырвались слова о любви к ней: она не верила в серьезность этих слов, считала их простым утешением, но Пьер был ей нужен потому, что он все простил ей за Андрея, что он видел ее не той пропащей, погибшей, какой она сама себя видела, а прежней Наташей.

И Пьер тоже мало думал о войне. Он понял теперь, что любит Наташу, и это стало главным в его жизни. «Ну и пускай такой-то обокрал государство и царя, а государство и царь воздают ему почести; а она вчера улыбнулась мне и просила приехать, и я люблю ее, и никто никогда не узнает этого»,— думал Пьер. В нем проснулся тот юноша, которого мы видели когда-то в гостиной Шерер, и кажется: не было этих семи лет ошибок, заблуждений, горестей — этот юноша толкает его, отставного московского камергера, на странные мысли. Пьер пришел к выводу, что ему суждено убить Наполеона. Он вычислил это, всячески обманывая себя, как всегда обманывают себя люди, вычисляющие предсказания своей судьбы,— и теперь он ждет того часа, который должен вывести его из «ничтожного мира московских привычек... и привсти его к великому подвигу и великому счастию». Так он повторяет мысли и чувства, владевшие в прошлой войне князем Андреем, ему грезится свой Тулон, и в мечтах своих он недалеко ушел от шестнадцатилетнего Пети Ростова, который «в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары».

Но и брат Пети Николай, теперь уже опытный гусар, хотя и участвует в сражениях, до сих пор не понимает, что это за война. Еще недавно он собирался, исполняя волю родителей, выйти в отставку и приехать домой — там ждала Соня, и он радостно думал о тихой деревенской жизни: «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять — двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам!» — все это представлялось ему счастьем; оно отодвинулось начавшейся войной, но Николаю и в голову не приходит, что эта война перевернет всю его жизнь.

Он научился теперь «управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая... предстоящей опасности». Как прежде Денисов жалел его, так теперь он жалеет молоденького офицера Ильина, еще не умеющего преодолевать страх. Рассказы участников сражений вызывают в нем теперь то же презрение, с каким когда-то князь Андрей отнесся к его рассказу о Шенграбенском деле: «Ростов... знал по своему и собственному опыту, что, рассказывая военные происшествия, всегда врут, как и сам он врал, рассказывая; во-вторых, он имел настолько опытности,

что знал, как все происходит на войне совсем не так, как мы можем воображать и рассказывать».

Жизнь Ростова — и всего полка, где он служит,— идет еще по мирным законам: в комнате, где ночевали офицеры, «раздавался беспричинный, веселый, детский хохот», и даже сражение, за которое Ростов получил Георгиевский крест, не выбило его из привычной колеи. Он взял в плен французского офицера и никак не мог понять, в чем же состоит его подвиг: у офицера было такое «белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами... самое простое комнатное лицо». И Ростов еще не умел в этот первый месяц войны видеть в нем врага, он пожалел француза с его «дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами»

Так медленно, не сразу она входила в жизнь людей, эта война, будущая Отечественная. То, чем живут люди: любовь Пьера и горе Андрея, возрождение Наташи, несправедливость старого князя, мечты Пети, простой быт полка, где служит Николай,— все, чем живут люди, очень важно для них, но скоро все это окажется совсем незначительным перед той страшной силой общей беды, которая надвигается и скоро придвинется вплотную.

3. Началось!

Странно сейчас читать обо всем этом, особенно людям моего поколения и старше, помнящим, как сразу, в один день, оборвалась мирная жизнь всей страны 22 июня 1941 года. Но и наша война пришла не ко всем сразу; она уже гремела над Брестом, когда я проснулась в Ленинграде ранним утром от непривычного гула самолетов и, нисколько не обеспокоенная этим гулом, уселась на подоконник с «Островом сокровищ», предвкушая длинный воскресный день. И он начался для меня, этот день: мы с подругой поехали в Ботанический сад и гуляли там, и не сразу заметили, что взрослые куда-то бегут, о чем-то взволнованно говорят, многие плачут. Только часам к трем мы поняли, что началась война, которая для остальных ленинградцев началась на три часа раньше. Так кончилось мое детство, но этого я еще не могла понять.

А где-то в лесу сидели у костров туристы, люди купались в море, восходили на горы, искали в тайге руду, ловили рыбу — у многих из них не было радио, транзисторов еще не существовало. Они узнали о войне на второй, на третий день — они на много часов дольше нас жили мирной жизнью.

Но все-таки тех, кто не знал, были единицы. В этой, нашей войне было радио, и вражеские самолеты, которые в ту же ночь прилетели бомбить Ленинград, и были наши самолеты, отогнавшие их,— долго их не пропускали к городу, до самого 8 сентября — 26 августа по старому стилю; это была сто двадцать девятая годовщина Бородинской битвы, когда впервые бомбили Ленинград; город уже был в кольце блокады, а нас в это время везли по Каме на белом теплоходе из деревни под Ярославлем, казавшейся вначале глубоким тылом, надежно укрывшим ленинградских детей, а потом и там начались бомбежки, мы поехали дальше, на Урал...

Казалось бы, ничего общего между той войной, 1812 года, и этой, выпавшей на долю моего поколения. Не было тогда ни бомб, ни самолетов, не было тех ужасов и зверств, о которых мы скоро узнали; не было, главное, фашизма — но почему же тогда в землянках и госпиталях сорок первого года, при блокадных коптилках люди читали «Войну и мир», как самую сегодняшнюю, сиюминутную книгу, и почему любимым стихотворением всех поголовно — от первоклассника до генерала — долгие четыре года войны было лермонтовское «Бородино»?

Чем больше я думаю об этом, тем острее понимаю, что общее б ы л о — не в видах оружия, не в скорости передвижения войск; Толстой понятия не имел о пулеметах, «катюшах» и лагерях уничтожения, но он написал и о нас, потому что знал п р о ч е л о в е к а такое, чего хватило на сто с четвертью лет, и когда началась наша война, оказалось, что Толстой заложил в каждого из нас что-то очень важное, о чем мы до той поры не догадывались, и мы бросились к нему — черпать и черпать из неиссякаемого источника его книги душевные силы, стойкость и то сложное чувство, которое называется патриотизмом.

Война вошла в жизнь людей неожиданно — хотя ее ждали, о ней говорили,— она всегда неожиданна, и люди не сразу впустили ее, еще продолжали держаться за старое. Пьер, уже высчитав, что он должен убить На-



полеона, по-прежнему ездил в клуб и позволял себе радость иногда обедать у Ростовых; Наташа пела и мучилась вопросом, не стыдно ли это после всего, что с ней произошло; но война уже приблизилась к дому Ростовых с бумагами, засунутыми Пьером за подкладку шляпы; она — в блестящих глазах Пети, в страхе старой графини за сына, в тоненьком старательном голосе Сони, читающей царский манифест: обращение царя к народу...

Ее слушают по-разному: Пьера поразило, что царь обещал «стать посреди народа... для совещания и руководствования» — ему кажется, что теперь, перед лицом опасности, Александр I, может быть, выслушает своих подданных, посоветуется с ними: Пьер, как и прежде, мечтает о справедливости, о демократии и добре... Старый граф растроган, его легко растрогать, он повторяет: «Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем», вовсе не предполагая, что младший сын воспримет эти слова всерьез: «Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите,— я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...»

Для старой графини все происходящее значит только одно: Петя в опасности. Петя, младший, маленький...

И все эти разные и сложные чувства выражает Наташа: «Вам все смешно, а это совсем не шутка...»

Читая эту сцену, я всегда вспоминаю начало Шенграбенской битвы и общее выражение всех лиц — от солдата до князя Багратиона: «Началось! Вот оно!» Здесь, за еще мирным обедом в доме Ростовых, приходит к ним война: «Началось! Вот оно!..» — и уже не вернуться к прежнему душевному состоянию, война уже бесповоротно завладела этой мирной семьей.

Не случайно н а з а в т р а жизнь начинает идти с бешеной скоростью, непривычной для патриархальных Ростовых. Петя побежал смотреть на приехавшего царя, в толпе его чуть не раздавили: все было вовсе не так, как представлялось Пете, но стремление его идти на войну ничуть не уменьшилось.

Еще через день было дворянское собрание. «Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах,— все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском» — и в этом тоже была война. Никакого совещания с дворянами не было, были сначала обычные разговоры и споры, потом быстро составилось постановление московского дворянства: каждый обязывался представить в армию своих крепостных и полное их обмундирование; потом — короткая растроганная речь царя.

Нигде ни разу Толстой не сказал от себя, от автора, ни одного громкого слова,— наоборот, он посмеивается над теми, кто эти громкие слова произносит; у него никто как будто и не думает о России, а каждый — о себе: растроганные встречей с царем купцы и дворяне пожертвовали отечеству большие суммы, а назавтра «сняли мундиры... и удивлялись тому, что они наделали».

Но из этого ничем не приукрашенного описания будней почему-то возникает ощущение спокойной и величественной силы, которая спасет Россию. Как складывается это ощущение? Наташа со своим «это совсем не шутка»; Петя, рвущийся в армию; два плачущих купца: толстый и худой; старик Ростов, который после встречи с царем «тут же согласился на просьбу Пети»,— каждый из этих людей сам по себе, у каждого своя жизнь, свои мечты и заботы; но вот настал час, когда они оказались все вместе; и для каждого из них важнее всего на свете стало то, о чем вчера не думалось, но что сегодня соединило их друг с другом.

А князь Николай Андреевич Болконский после отъезда сына заболел, не выходит из кабинета, не допускает к себе ни дочь, ни француженку; его дом все еще живет прежними внутренними отношениями: умный старик — профессиональный военный — не дает себе труда задуматься о том, что происходит в его стране, и княжна Марья до сих пор не понимает, что это за война.

«Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга, но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны».

Княжну Марью можно понять: она привыкла верить отцу во всем, что касалось политики и военных дел,— отец не выражает никакого беспокойства и занят строительством нового корпуса в своем поместье. Но как же старый князь может не видеть, не понимать надвигающейся опасности?

Может. Потому что старость бессильна и вырабатывает защитную реакцию против своего бессилия. Слишком невыносимо было бы для старого князя п о н и м а́ т ь, и потому он инстинктивно вырабатывал в себе непонимание: никогда не говорил про войну, «не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне».

Дочь не видит, как он одряхлел. Ей, живущей с ним рядом, незаметно, что старость уже овладела им. Но и сын в последний свой приезд заметил только «недостаток одного зуба» и усилившуюся раздражительность отца; сын и дочь тоже инстинктивно вырабатывают в себе защитную реакцию: не дать себе понять, что старик уже подступает к грани, отделяющей живых от мертвых.

Грустно и тяжело читать, что старый князь «каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее; то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной...»

Он искал места, где не мучили бы тяжелые думы, но на каждом новом месте опять приходила бессонница, и опять терзала усталость, накопленная за долгую жизнь, и невыносимо было думать о своем бессилии, о том, что жизнь прошла...

Кому об этом расскажешь, с кем поделишь эту ношу, кто поймет? Старость одинока, и нет спасенья от одиночества ни для кого; даже сын, умный, любящий, преданный отцу князь Андрей,— и он не поможет: он молод, здоров, полон сил — сегодня ему не понять отца.

Только своим последним одиночеством занят старый князь. Уже первое августа (а двадцать шестого будет Бородинская битва); уже войска Наполеона взяли Витебск, и князь Андрей пишет, что надо уезжать из Лысых Гор, лежащих «на самой линии движения войск», но старик прочел письмо сына, видел нарисованный его рукой план кампании — сын считал, что ему все это попрежнему интересно и понятно, а он ничего не увидел, ничего не понял, мысли его были далеко.

Оставшись один в кабинете, он может, наконец, спокойно заняться тем единственным, что важно ему сейчас,— бумагами, которые после его смерти будут переданы царю. До последнего часа он надеется принести пользу, верит в свои «ремарки», в то, что царь прочтет их и выполнит его волю, его разумение пользы государственной.

И еще — новый корпус нужно построить в Лысых Горах — не для себя: для Андрея, для Марьи, для Николеньки. До последнего часа он будет заботиться о них; дети его не понимают, но он сделает для них все.

Призвав управляющего Алпатыча, он отправит его в Смоленск за почтовой бумагой — писать «ремарки», за лаком, сургучом, задвижками к новым дверям, за переплетным ящиком для завещания...

Все это — самые важные дела, нет важнее; некому их передоверить, все перепутают, все он должен делать сам, а он устал. «Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги». Все тяжело — подвинуться, поднять эти ноги, лечь, встать, одеться — все тяжело, но кому расскажешь об этом, кто поймет! И еще кто-то гвоздит усталый мозг: что-то было важное, говорили за обедом... «Княжна Марья что-то врала. Десаль что-то — дурак этот — говорил». Как вспомнить? Кому можно открыть, что он, мудрый и гордый князь Болконский, забыл главное?

Письмо Андрея. Один, ночью, в тишине, старый князь может, наконец, признаться себе: есть что-то важнее, чем его одиночество и его бессилие; надо впустить это важное в свою жизнь, уже нельзя от него укрыться, спастись; придется понять, придется расстаться со своими заботами, со своей усталостью и болью — вот оно, вошло в его жизнь. Началось!

Заставив себя прочесть письмо, позволив себе, наконец, вникнуть в его смысл, Николай Андреевич мгновенно, как раньше, все понял: «Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там...» Через четыре перехода! Так думает не бессильный старик, это генерал-аншеф Болконский проснулся в нем, военный человек, привыкнувший мерять расстояние переходами войск, и на мгновение он увидел себя молодым, «ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина...» И все страсти прежних лет проснулись в нем на мгновенье, но все это было, и было так давно, и ушло. «Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»

Война пришла в жизнь молодых и сломала эту жизнь: она убьет князя Андрея; она лишила Соню счастья, потому что эта война отнимет у нее Николая; она убьет Петю — мальчика Петю, еще не начавшего жить, но и у старика она отняла право умереть спокойно. Война ограбила всех.

4. Купец Ферапонтов

Князь Николай Андреевич Болконский, отправляя в Смоленск своего управляющего Алпатыча, дал ему только обычные хозяйственные поручения. Но княжна Марья, по совету Десаля, послала с Алпатычем письмо к губернатору «с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы».

И вот Яков Алпатыч собирается в путь, «провожае-

мый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же, как князь...»

Всякий раз, как на страницах «Войны и мира» появляется Алпатыч, он произносит имя князя Болконского, «гордо поднимая голову и закладывая руку за пазуху»,— этим жестом он подчеркивает значительность своего хозяина. Вся жизнь Алпатыча — отражение жизни старого князя. Собираясь в дорогу, он точно так же, как князь, отстраняет своих родственниц:

«— Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! — пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку».

Мы уже видели, что Толстой почти никогда не описывает войну от себя, своими глазами. Мы видели битвы глазами Николая Ростова и Андрея Болконского, мы увидим Бородино глазами Пьера — так и теперь мы подъезжаем к Смоленску, под которым уже стоят французы, вместе с Алпатычем.

Он волей-неволей выслушивает купца Ферапонтова, у которого всегда останавливается в Смоленске. На сообщение, что «все француза боятся», Алпатыч отвечает, как князь: «Бабьи толки, бабьи толки!» Его волнует одно: погода хорошая, упускается «дорогой день для уборки хлеба».

Купец Ферапонтов только один раз появится на страницах романа, но то, что с ним произойдет, поможет нам понять Наташу, и Андрея, и Петю, и всех людей, которые вчера жили в мире, а сегодня живут на войне.

Владелец дома, постоялого двора и мучной лавки, «толстый, черный, красный сорокалетний мужик с толстыми губами, с толстой шишкой-носом, такими же шишками над черными, нахмуренными бровями и толстым брюхом» — таков Ферапонтов. Не правда ли, мало симпатичный мужчина? Толстой нарочно рисует его таким: не живот у него, а «брюхо», не нос, а шишка; в трех строчках четыре раза повторено слово «толстый»; сам он «черный, красный», и первые же его слова — о деньгах: «Мужики по три рубля с подводы просят — креста на них нет!» Жена умоляет его уехать из Смоленска: «Не погуби ты меня с малыми детьми; народ, говорит, весь уехал; что, говорит, мы-то?» — Ферапонтов не хочет ехать ни за что, не хочет оставить добро, он избил жену за ее просьбы: «Так бил, так волочил!»

Единственное, что интересует Ферапонтова: как бы не заплатить по семь рублей за подводу (вчера было по три, сегодня уже по семь!); его мучит зависть к купцу Селиванову, выгодно продавшему муку в армию.

И вот Алпатыч выезжает с ферапонтовского двора. «Вдруг послышался странный звук дальнего свиста и удара, и вслед затем раздался сливающийся гул пушечной пальбы, от которой задрожали стекла».

Это было начало. «С разных сторон слышались свисты, удары ядер и лопанье гранат, падавших в городе». Если бы мы видели все это глазами князя Андрея или его отца, мы бы сразу поняли, что началось бомбардирование города из множества орудий. Но за нас смотрит Алпатыч, и он ничего не понимает; вокруг него людям только любопытно, даже весело — до той самой секунды, когда «засвистело что-то, как сверху вниз летящая птичка, блеснул огонь посередине улицы, выстрелило что-то и застлало дымом улицу». Так увидели Алпатыч и женщины, стоявшие в воротах. Но это что-то, похожее на птичку, раздробило бедро любопытной кухарке — тогда только люди поняли, что происходит.

Уже идут по улице русские солдаты, оставляющие город; уже офицер кричит Алпатычу: «Сдают город, уезжайте, уезжайте!» — и в это время в лавку Ферапонтова врывается несколько солдат. Они «с громким говором насыпали мешки и ранцы пшеничной мукой и подсолнухами. В то же время... в лавку вошел Ферапонтов. Увидав солдат, он хотел крикнуть что-то, но вдруг остановился и, схватившись за волосы, захохотал рыдающим хохотом.

— Тащи все, ребята! Не доставайся дьяволам! — закричал он, сам хватая мешки и выкидывая их на улицу...

— Решилась! Расея! — крикнул он.— Алпатыч! решилась! Сам запалю. Решилась...— Ферапонтов побежал на двор».



Он остался тот же — черный, красный, с толстым брюхом, хитрый купец, умеющий из всего извлекать выгоду. Но в его крике: «Не доставайся дьяволам!», в его рыдающем хохоте: «Сам запалю» — будущий пожар Москвы и погибель Наполеона, потому что настал миг, когда купец Ферапонтов думает не о деньгах и товарах, а о России.

Может, он и не думает о ней, но чувствует за нее — так, как чувствуют в этот час все.

Уже горят дома и лавки, подожженные такими же хозяевами, как Ферапонтов, и люди торопливо несут «из пожара через улицу на соседний двор горевшие бревна», чтобы зажечь еще что-то, чтобы не досталось французам.

Не может в эту минуту произойти ничего удивительного: даже то, что Алпатыча вдруг окликает князь Андрей, освещенный пламенем пожара,— даже это не странно: здесь должен быть князь Андрей, «в плаще, верхом на вороной лошади», с бледным и изнуренным лицом; он должен вот так, «приподняв колено... писать карандашом» записку отцу. Все сметено, война идет по Смоленску, и только один человек остается неизменным в этом безумном, полыхающем мире.

«— Вы полковник? — кричал штабный начальник, с немецким акцентом, знакомым князю Андрею голосом.— В вашем присутствии зажигают дома, а вы стоите? Что это значит такое? Вы ответите,— кричал Берг, который был теперь помощником начальника штаба левого фланга пехотных войск первой армии...»

От этого «помощника начальника штаба левого фланга» душу переворачивает. Ничего, ничего он так и не понял, как не понял и его друг Друбецкой; у Берга в этой войне «место весьма приятное и на виду»; он не понимает, зачем зажигают дома; где ему — чистому и розовому — до толстого, красного, черного Ферапонтова!

А князь Андрей, который семь лет назад кричал на Жеркова за глупые шутки, сегодня не кричит на Берга: он его не замечает, не слышит.

«— Урруру! — вторя завалившемуся потолку амбара, из которого несло запахом лепешек от сгоревшего хлеба, заревела толпа. Пламя вспыхнуло и осветило оживленно радостные и измученные лица людей, стоявших вокруг пожара...

— Это сам хозяин,— послышались голоса».

Князь Андрей — с ними, с этими людьми, сжигающими свой хлеб, с купцом Ферапонтовым, и нет ему дела до Берга; забота у него — Россия.

После того, что князь Андрей видел в Смоленске, его уже не может удивить то, что он замечает, отступая со своим полком по большой дороге, мимо Лысых Гор: «Оставшиеся на корню хлеба сгорали и высыпались. Болота пересохли. Скотина ревела от голода, не находя корма по сожженным солнцем лугам... Солнце представлялось большим багровым шаром. Ветра не было, и люди задыхались...»

Это — война. Но и на войне люди остаются людьми. Заехав в свое разоренное поместье, князь Андрей увидел двух крестьянских девочек, воровавших сливы в барской оранжерее. Они испугались барина, и князь Андрей тоже «испуганно-поспешно отвернулся от них, боясь дать заметить им, что он их видел». После встречи с девочками был еще пруд, в котором «с хохотом и гиком» купались солдаты — «весельем отзывалось это барахтанье, и оттого оно особенно было грустно». Грустно потому, что война разрушает не только дома и амбары, она идет по человеческим жизням, и все эти люди, весело барахтающиеся в пруде, завтра могут погибнуть, и девочки со сливами тоже, война не пощадит никого.

Но люди уже и не хотят пощады. Одна забота владеет этими веселящимися в грязном пруде солдатами, и купцами, жгущими свой хлеб, и полководцем Багратионом. Рискуя заслужить гнев царя и всесильного Аракчеева, он все-таки после оставления Смоленска пишет Аракчееву письмо — прекрасное письмо не знакомого с дипломатией солдата: «Больно, грустно, и вся армия в отчаянии, что самое важное место понапрасну бросили... Слух носится, что вы думаете о мире. Чтобы помириться, боже сохрани!.. Ежели уж так пошло — надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах... Скажите, ради бога, что наша Россия — мать наша — скажет, что так страшимся и за что такое доброе и усердное Отечество отдаем сволочам и вселяем в каждого подданного ненависть и посрамление...»

Что такое Россия — мать наша? Разоренный дом в Лысых Горах, девочки со сливами; Наташа, изменившая князю Андрею с Анатолем, сестра, сын, старик

отец — вот Россия князя Болконского. У Ферапонтова она другая, у Багратиона — третья, но у всех одна, и все они: князь Андрей и Алпатыч, Николай Ростов в свом полку и Пьер в Москве; человек во фризовой шинели, радующийся пожару Смоленска, и стиснутый московской толпой Петя Ростов; купающиеся солдаты и генерал Багратион — все они знают теперь: пришел час, когда стало важно только одно — общая судьба всех, судьба Отечества.

5. *Княжна Марья Болконская*

Война не дала спокойно умереть старому князю Николаю Андреевичу Болконскому. Та ночь, когда он заставил себя прочесть письмо сына и понять, что французы в четырех переходах от его дома,— та ночь не прошла даром. Старый генерал «как бы вдруг опомнился от сна» и погрузился в лихорадочную бессонную деятельность: собирал ополченцев, вооружал их, писал военачальникам... Силы его кончились внезапно: князь собирался ехать к главнокомандующему; он «в мундире и всех орденах, вышел из дома...» Так его и привели — почти принесли — обратно в дом через несколько минут, «маленького старичка в мундире и орденах», и княжна Марья со страхом увидела, что «прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности».

Князь Андрей не знал, что случилось. Он думал, что отец и сестра в Москве, а на самом деле они уехали в Богучарово, лежавшее на дороге, по которой приближались французы. Князь Андрей получил известие, что отец его болен, но не понимал, *как* болен. Он не видел и не слышал того, что видели и слышали Алпатыч, дворовые. Он не мог себе представить выражения робости и покорности на властном лице отца.

Это выражение — признак приближающейся смерти; оно невыносимо для близких. Когда старый князь долгие дни лежал в беспамятстве, «как изуродованный труп», это было только продолжением робости и покорности, так испугавших княжну Марью в первый день.

Старик больше не мог руководить дочерью. Еще несколько дней назад княжна Марья, замирая от страха, решилась нарушить его волю и не уехала в Москву вместе с Николенькой и Десалем. Она боялась оставить отца одного — и поняла тогда, что он был доволен ее решением, хотя кричал на нее и не велел ей показываться ему на глаза.

Он тоже боялся остаться один, потому и кричал, и сердился на дочь: не мог он признаться ей в своей слабости... И вот оказалось, что опасения дочери не напрасны, его тайный страх оправдался: разбитый параличом, беспомощный, он внесен в дом, его положили на тот самый диван, «которого он так боялся в последнее время».

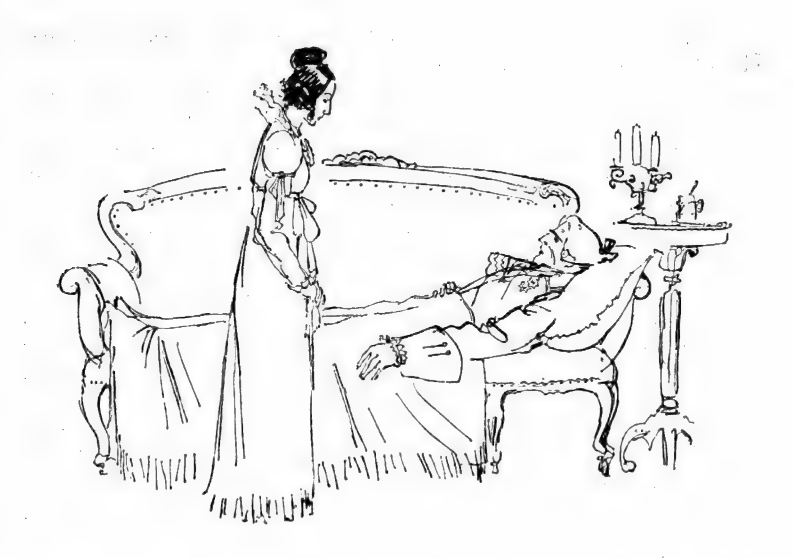
Теперь княжна Марья должна отвечать за него так же твердо, как он всю жизнь отвечал за нее. Дочь решила везти отца в Богучарово, и потянулись дни, когда старый князь лежал в беспамятстве, а французы шли и шли по России, но княжна Марья не знала об этом, потому что день и ночь думала об отце, только об отце.

Толстой всегда беспощаден к тем своим героям, кого любит, и беспощаднее всех он к княжне Марье. Но чем больше читаешь о постыдных мыслях, владевших княжной Марьей, тем больше любишь ее.

«Не лучше ли бы было конец, совсем конец!» — иногда думала княжна Марья. Она день и ночь, почти без сна, следила за ним, и, страшно сказать, она часто следила за ним не с надеждой найти признаки облегчения, но следила, часто *желая* найти признаки приближения к концу». (Курсив Толстого.)

Можно было бы обмануть себя, сказать себе, что эти мысли рождаются жалостью к страданиям больного. Но княжна Марья не обманывает себя: «что было еще ужаснее для княжны Марьи, это было то, что со времени болезни ее отца... в ней проснулись все заснувшие в ней, забытые личные желания и надежды... Как ни отстраняла она от себя, беспрестанно ей приходили в голову вопросы о том, как она теперь, после *того*, устроит свою жизнь». (Курсив Толстого.)

Княжна Марья ужасается тому, что происходит в ее душе, и мучается, и стыдится, и не может перебороть себя. Что же, она не любит отца? Любит — больше, чем когда-нибудь, и это самое мучительное:



«никогда ей так жалко не было, так страшно не было потерять его».

Накануне смерти старому князю стало лучше. Такое последнее утешение смерть дарует умирающему и его близким: княжна Марья поддалась утешению. «Душа болит»,— невнятно сказал ей отец. «Все мысли! об тебе... мысли... Я тебя звал всю ночь...»

Невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он говорил, старалась говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.

— Душенька...— или — дружок...— Княжна Марья не могла разобрать; но наверное, по выражению его взгляда, сказано было нежное, ласкающее слово, которого он никогда не говорил.— Зачем не пришла?

«А я желала, желала его смерти!» — думала княжна Марья. Он помолчал.

— Спасибо тебе... дочь, дружок... за все, за все.. прости... спасибо... прости... спасибо!..— И слезы текли из его глаз.— Позовите Андрюшу,— вдруг сказал он, и что-то детски-робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе».

Только перед смертью он позволил себе быть нежным. «Дочь, дружок...» И сына назвал Андрюшей... Но нет сына — он на войне, и в последний раз в сознание отца входит правда.

«Да,— сказал он явственно и тихо.— Погибла Россия! Погубили!»

Как страшно думать, что мальчики, убитые под Ленинградом, под Москвой, на Днепре, на Волге, так никогда и не узнали о красном флаге над рейхстагом. Как горько думать, что генерал-аншеф Болконский никогда не узнал: Россия не погибла...

Княжна Марья — в своем горе, в терзаниях совести, в страхе за отца. «Она не могла ничего понимать, ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме своей страстной любви к отцу, любви, которой, ей казалось, она не знала до этой минуты». А отец умирает. Но он остается жить в дочери,— конечно, она не может сейчас этого понять, об этом думать.

«— Княжна, воля божья совершается, вы должны быть на все готовы,— сказал предводитель, встречая ее у входной двери.

— Оставьте меня; это неправда,— злобно крикнула она на него».

Вот когда в кроткой княжне Марье проснулся нрав отца. Прошло несколько часов — и, как отцу пришлось преодолеть свою старость, свое бессилие, так княжне Марье придется преодолеть свое горе, заполнившее всю ее жизнь после смерти отца.

«— Ах, ежели бы кто-нибудь знал, как мне все все равно теперь»,— ответила она, когда мадемуазель Бурьен завела с ней разговор о том, что лучше бы не уезжать из Богучарова, а остаться в надежде на покровительство французов. Но вот она вынула из сумочки объявление французского генерала Рамо.

«Княжна Марья читала бумагу, и *сухие рыдания задергали ее лицо*... «Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтобы она, дочь князя Николая Андреевича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями!» — Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и *чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости...*» (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Так проснулся в ней нрав отца, и неудивительно, что княжна Марья думала теперь «не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата... Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой,

еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее».

Смерть отца действительно освободила княжну Марью — как ни горько, но это так. В ту минуту, когда мадемуазель Бурьен стоит перед ней с воззванием французского генерала, княжна Марья, конечно, не думает о своей свободе — она вся во власти возмущения; она оскорблена — и эти чувства, как это было у ее отца, выливаются в быструю, решительную деятельность. Ехать, немедленно ехать — лишь бы не остаться у французов!

Но ехать нельзя — «дикие» богучаровские мужики не дают подвод. Попытка княжны Марьи договориться с ними приводит к обратным результатам: теперь мужики не только не дают подвод, но и княжну не хотят выпустить из Богучарова.

Вот тут и появляется Николай Ростов — романтический герой, каким видит его княжна Марья, но вовсе не романтический в глазах Толстого. В Богучарово он попал в поисках сена для лошадей, а с бунтующими мужиками объяснился самым прозаическим образом: при помощи кулаков.

В конфликте Ростова с крестьянами Толстой скорее всего на стороне Ростова: во-первых, он жалеет княжну Марью, которую крестьяне не выпускают из Богучарова; во-вторых, он осуждает крестьян, решивших остаться под властью французов, чтобы не потерять свое добро.

Мы тоже осуждаем крестьян за то, что они поддались на уговоры врага. Но в то же время нам обидно читать, как Ростов с помощью лакея Лаврушки одолел крестьянский бунт. Обидно понимать, как темно сознание крестьян, как дики их представления о добре и зле, правде и лжи, как робки их попытки самостоятельно, без указаний помещиков, решать свою судьбу.

И всего огорчительнее читать те страницы, где княжна Марья от всего сердца хочет помочь крестьянам, отдать им свой хлеб,— она чувствует, что отец и брат сделали бы то же самое,— а крестьяне не понимают ее, видят хитрость в ее искреннем желании делать добро.

Толстой задумал свой роман как книгу о декабристе, вернувшемся из ссылки в шестидесятых годах XIX века. Потом он решил обратиться к более ранним временам — к самому восстанию декабристов. Затем — вернулся к

войне 1812 года и еще раньше — к войне 1805—1807 годов. «Война и мир» стала книгой, показывающей формирование декабризма,— действие романа кончается за пять лет до событий на Сенатской площади. Мы уже видели, как плохо удавались попытки Пьера облегчить положение своих крестьян. Теперь перед нами — стена взаимного непонимания, отделяющая крепостных людей от их помещицы — княжны Марьи. Для богучаровских мужиков она чужая; но ведь среди них несколько лет прожил князь Андрей, стараясь, сколько возможно, облегчить их положение. Оказывается, это не помогло — крестьяне по-прежнему не верят в добрые намерения господ. Знаменитые слова В. И. Ленина: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа» были сказаны о декабристах через два года после смерти Толстого, в 1912 году. Но книга Толстого помогает нам глубже понять трагическую справедливость этих слов.

Вернемся к княжне Марье. Ростов явился как спаситель в трудный час ее жизни, совершил подвиг (иначе княжна Марья не может и не хочет назвать его поступок) и вошел в ее судьбу навсегда.

Ничего этого не было бы, будь старый князь жив и здоров. Никогда крестьяне не осмелились бы спорить с ним, не было бы ни бунта, ни спасения. Ростов купил бы у Алпатыча сено и уехал, даже не увидев княжну Марью, да вдобавок старый князь скорее всего встретил бы Николая надменно и презрительно, как брата той, которая оскорбила князя Андрея.

Теперь все произошло иначе — и получается, что смерть старого князя на самом деле освободила княжну Марью. В том-то и сложность наших отношений с родителями, что они действительно, хотя и невольно, своей заботой мешают нам быть самостоятельными. И чем ближе мы к своим родителям, чем больше любим и уважаем их, чем сильнее их душевная власть над нами,— тем больше они затрудняют нам жизнь, вовсе того не желая.

Кто в этом виноват? Да нет здесь виноватых; разве любовь может быть виной! И выхода из этого положения нет, потому что молодость, естественно, рвется к самостоятельности, к полноте ответственности за свою судьбу, а старые люди столь же естественно держатся за свое место в жизни и не хотят отдать его моло-

дым. Выхода нет, и остается только все равно любить, все равно жалеть своих стариков, потому что хуже всего становится, когда они уходят навсегда и уже некому мешать нам и властвовать над нами.

6. Денщик Лаврушка и другие...

Вернемся на месяц назад — к тому дню, когда Наполеон уже перешел Неман и двигался по польским губерниям, а князь Андрей приехал в «главную квартиру армии» к Барклаю де Толли.

То, что он увидел и услышал там, поразило его не своей исключительностью, а, наоборот, обыденностью. «Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний».

Чем же были заняты люди, взявшие на себя ответственность за руководство армией? Что происходило в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире?

Там было девять разных группировок — Толстой с иронией описывает их: «теоретики войны», обсуждавшие бесконечные планы кампании; сторонники мира, боявшиеся Наполеона еще со времен Аустерлица; «делатели сделок» между разными направлениями; приверженцы Барклая и приверженцы Бенигсена, обожатели императора Александра — ирония Толстого понятна, если вспомнить, что «об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал»,— в штабе заняты спорами, разговорами, а вовсе не тем, что сейчас нужно стране.

Но одну группу — самую многочисленную — Толстой описывает не только с иронией; в каждом его слове — ненависть; «самая большая группа... состояла из людей... желающих только одного, и самого существенного: *наибольших для себя выгод и удовольствий...*

Все люди этой партии *ловили рубли, кресты, чины* и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости... Какой бы ни поднимался вопрос, а уж *рой этих трутней,* не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим *жужжа-*

нием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Вот кто сделал Берга «помощником начальника штаба левого фланга»; вот кого Багратион в своем письме к Аракчееву назвал сволочами; вот против кого выступили, наконец, люди, утверждавшие, что «все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии...».

В конце концов, царя уговорили уехать в Петербург, вместе с «трутнями». Перед отъездом он милостиво принял князя Болконского, и «князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения остаться в армии».

Князь Андрей «потерял себя» в придворном мире, но мир этот жив, и живет он по прежним законам — вся страна вздыблена, взметена, изменилась жизнь всех людей, кроме тех, кто окружает царя. «Эта жизнь неизменна...— говорит Толстой,— ...салон Анны Павловны и салон Элен были точно такие же, какие они были один семь лет, другой пять лет тому назад».

Изменилось все; даже казавшиеся заколдованным спящим замком Лысые Горы покинуты хозяевами, разорены, через них прошла война. Но в Петербурге по-прежнему живут фантастической, выдуманной жизнью, и князь Василий сегодня ругает Кутузова последними словами, а завтра восторгается им, потому что царь вынужден под натиском общественного мнения назначить Кутузова главнокомандующим.

Мы помним, как описывал Толстой Наполеона, безжалостно подчеркивая толщину, короткие ноги, пухлую шею... Кутузова он тоже не щадит: старый главнокомандующий «еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром», он, «тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке»; в лице его и фигуре было «выражение усталости»... Но если Наполеон всячески заботится о впечатлении, какое он производит на окружающих, то Кутузов — прежде всего естествен в каждом своем движении; это и любит в нем Толстой.

Кутузов устал от долгой и трудной жизни, ему тяжело носить свое расплывшееся тело — всего этого он и не думает скрывать. Как все старики, он боится смерти — он, умеющий быть невозмутимым под пулями, «испуганно-открытыми глазами посмотрел на князя Андрея», услышав о смерти своего друга, старого князя

Болконского. Он естествен и здесь, он всегда остается самим собой.

Все, что говорит и делает Кутузов, он говорит и делает не так, как Наполеон и Александр I.

Весь роман Толстого построен на принципе контраста — резкого противопоставления. Контраст — в самом названии книги: «Война и мир». Контрастны войны: несправедливая, ненужная народу война 1805—1807 годов и Отечественная, народная 1812 года... Контрастны целые круги общества: дворяне и народ противопоставлены друг другу, но и в дворянской среде — контраст между честными людьми — Болконскими, Ростовыми, Пьером Безуховым — и «трутнями» — Курагиными, Друбецкими, Жерковым, Бергом.

Внутри каждого лагеря — свои контрасты: Болконские противопоставлены Ростовым; патриархальная семья Ростовых — бездомному, несмотря на свое богатство, Пьеру. Контрастны женщины: Элен и Наташа, Наташа и Соня, княжна Марья и Соня, Наташа и княжна Марья...

Резко контрастны исторические деятели: Барклай и Кутузов, Наполеон и Александр I, Кутузов и Наполеон. И, может быть, самый резкий контраст в том, как рисует Толстой Кутузова и Александра I. Никакой прямой насмешки над царем Толстой не допускает. Наоборот, царь у него красив, обаятелен. Но уже в первой войне он становится жалок рядом с обрюзгшим и бессильным, но величественным и непокорным Кутузовым. А в войне Отечественной Кутузов затмевает царя именно своей естественностью — качеством, которое больше всего ценит в людях Толстой.

Да, он стар и немощен, он слушал доклады генералов «только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то что в одном из них был морской канат, не могли не слышать...» Но он побеждает царя «своею опытностью жизни» — и не случайно Толстой именно в главах, предшествующих Бородинскому сражению, заставляет Кутузова решать те же вопросы, которые уже решал на наших глазах царь.

Мы помним трагедию Денисова и попытку Ростова спасти своего друга, и ответ царя: «...потому не могу, что закон сильнее меня...» Денисов был обвинен в мародерстве на том основании, что силой взял провиант для своих солдат.

Теперь Кутузову представляют бумагу, требующую наказания армейских начальников за то, что солдаты скосили зеленый овес на корм лошадям.

Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.

«— В печку... в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик,— сказал он,— все эти дела в огонь. Пускай косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя...»

Через несколько дней красноносый капитан Тимохин расскажет Пьеру: «Ведь мы от Свенцян отступали, не смей хворостины тронуть, или сенца там, или что... В нашем полку под суд двух офицеров отдали за этакие дела. Ну, как светлейший поступил, так насчет этого просто стало. Свет увидали...»

И Барклай, отдавший под суд офицеров «за этакие дела», и царь, отказавший Денисову в помиловании, объективно правы: сено, овес и дрова принадлежат помещикам, их нельзя брать самовольно. Провизия, которую отбил Денисов, кому-то предназначалась — как же он мог ее взять? Но ведь и Берг по существу прав, когда кричит, что нельзя жечь дома,— действительно, нельзя — в мирное время. А на войне — другие законы, и это знает Кутузов. Его «в печку... в огонь» — справедливо, а царская верность закону оборачивается несправедливостью и жестокостью.

Несколько недель назад «князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии». Теперь Кутузов предлагает ему остаться в штабе, и князь Андрей снова отказывается.

«Умное, доброе и вместе с тем тонко-насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:

— Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты...»

Для царя, как и для Наполеона, главное — он сам, его неповторимая личность. Отказ служить при его особе делает человека подозрительным: разве может быть дело более важное, чем прислуживание его императорскому величеству! Для Кутузова главное — война, и как ни

огорчает его отказ князя Андрея, он признает правоту Болконского. Умение признать правоту другого — то, чего лишен царь и чем наделен Кутузов.

Но и это еще не все — Кутузов умеет чувствовать за других людей, понимать их. Поэтому он так ласков с Денисовым, хотя не очень вслушивается в его план партизанской войны. Поэтому называет и Денисова, и своего адъютанта, и князя Андрея голубчиками (совсем как маленький капитан Тушин), поэтому так жалеет князя Андрея, потерявшего отца, и находит те единственные слова, какими сейчас можно утешить Болконского: «Я тебя с Аустерлица помню... Помню, помню, с знаменем помню...»

Этой способности понимать других людей начисто лишен у Толстого Наполеон, занятый собой, всегда переполненный собой. Поэтому он терпит поражение, встретясь с пронырливым денщиком Ростова (а раньше — Денисова) Лаврушкой.

Хитрый, вечно полупьяный Лаврушка умеет найти выход из любого положения. Позже, попав с Ростовым в Богучарово и увидев бунтующих мужиков, он мгновенно поймет ситуацию:

«— Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! — бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за ворот Карпа.— Вяжи его, вяжи! — кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.

Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.

— Прикажете наших из-под горы кликнуть? — крикнул он».

Никаких «наших» под горой не было, и это отлично знал Лаврушка, как и Ростов. Но бунт был подавлен мгновенно, и староста сам снял с себя кушак, «как бы помогая» себя связать.

Перехитрить темных мужиков — не такое уж трудное дело. Но несколькими днями раньше Лаврушка обвел вокруг пальца властелина всей Европы.

Попав в плен к французам, Лаврушка приведен к императору. Наполеон считает, что Лаврушка не знает, с кем он говорит. Лаврушка, между тем, «очень хорошо знал, что это сам Наполеон, и присутствие Наполеона не могло смутить его больше, чем присутствие Ростова или вахмистра с розгами, потому что не было

ничего у него, чего бы не мог лишить его ни вахмистр, ни Наполеон».

Лаврушка хитрит, болтает все, что придет на ум, и, наконец, чтобы развеселить Наполеона, заявляет:

«— Знаем, у вас есть Бонапарт, он всех в мире побил, ну да об нас другая статья...

...Переводчик передал эти слова Наполеону без окончания, и Бонапарт улыбнулся».

Переводчик Наполеона поступает совершенно так, как поступил бы на его месте князь Василий: оберегая своего повелителя, переводит только лестную для него часть замечания Лаврушки. И Наполеон остается при убеждении, что даже дикий казак, «дитя Дона», восхищается его победами.

Но и «дитя Дона» ведет себя, как опытный придворный. Услышав сообщение, что перед ним сам Наполеон, Лаврушка «тотчас же притворился изумленным, ошеломленным, выпучил глаза и сделал такое же лицо, которое ему привычно было, когда его водили сечь». Маневр этот удался вполне: довольный Наполеон отпустил его на волю, и Лаврушка «к вечеру же нашел своего барина Николая Ростова». Так он перехитрил Наполеона, потому что Наполеону и в голову не могло прийти, что простой казак может оказаться умнее его.

А случилось все это потому, что великий полководец Наполеон перестал понимать остальных людей; Лаврушка его понял, а он Лаврушку — не понял.

Эта смешная история имеет более серьезное значение, чем может показаться. Наполеон не понимает людей, с которыми воюет,— может быть, это и определит его грядущее поражение. Кутузов умеет понять и Лаврушку, и Николая Ростова, и князя Болконского, и каждого солдата — этим он и отличается от Наполеона, от Александра I; это и определит его понимание народной войны, которую он возглавил.

7. Бородино

Описание Бородинской битвы занимает двадцать глав третьего тома «Войны и мира». Это — центр романа, его кульминация; решающий момент в жизни всей страны

и многих героев книги. Здесь скрестятся все пути: Пьер встретит Долохова, князь Андрей — Анатоля; здесь каждый характер раскроется по-новому, и здесь впервые появится громадная сила: народ, мужики в белых рубахах,— сила, выигравшая войну.

Но, верный своему методу, Толстой не станет описывать войну от себя, смотреть на нее своими глазами. Он выберет самого, казалось бы, непригодного для этой цели героя, ничего не понимающего в военном деле Пьера — и его непредубежденным взглядом заставит нас смотреть на великое сражение при Бородине.

Чувства, овладевшие Пьером в первые недели войны, станут началом его нравственного перерождения, но Пьер еще не знает об этом. «Чем хуже было положение всяких дел, и в особенности его дел, тем Пьеру было приятнее...» Он впервые ощутил себя не одиноким, никому не нужным обладателем богатства, но частью единого множества людей. Решив ехать из Москвы к месту сражения, Пьер испытал «приятное чувство сознания того, что все то, что составляет счастье людей, удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то...»

Это чувство естественно рождается у честного человека, когда над ним нависает общая беда его народа. Пьер не знает, что то же самое скоро испытает Наташа, что князь Андрей в горящем Смоленске и разрушенных Лысых Горах ощутил то же; что многие тысячи людей разделяют эти новые для него чувства.

Утром 25 августа Пьер выехал из Можайска и приближался к расположению русских войск. Уже встречались ему многочисленные телеги с ранеными, и один старый солдат спросил: «Что ж, землячок, тут положат нас, что ль? Али до Москвы?»

В этом безнадежном вопросе вовсе не только безнадежность; в нем то же чувство, владеющее Пьером: самая жизнь сейчас не так важна, как главное: доколе же отступать?

И еще один солдат, встретившись Пьеру, сказал с грустной улыбкой: «Нынче не то что солдат, а и мужичков видал! Мужичков и тех гонят... Нынче не разбирают... Всем народом навалиться хотят, одно слово — Москва. Один конец сделать хотят». А знакомый Пьеру доктор спокойно подсчитывает: «Завтра сражение: на

сто тысяч войска малым числом двадцать тысяч раненых считать надо...»

Если бы Толстой показал день накануне Бородинской битвы глазами князя Андрея или Николая Ростова, мы не могли бы увидеть этих раненых, услышать их голоса, ужаснуться трезвым подсчетам доктора. Ни князь Андрей, ни Николай не заметили бы всего этого: они оба — профессиональные военные, привыкшие и к потерям, и к голосам солдат. Но Пьеру все внове, его неискушенное зрение остро; глядя вместе с ним, мы начинаем понимать и его, и тех, с кем он встречается под Можайском: «удобства жизни, богатство, даже самая жизнь, есть вздор, который приятно откинуть в сравнении с чем-то...»

И вместе с тем все эти люди, каждый из которых может завтра быть убит или изувечен,— все они сегодня живут, не думая о том, что их ждет: с удивлением смотрят на белую шляпу и зеленый фрак Пьера, и смеются, и поют, и подмигивают раненым...

«Въехав на гору и выехав в небольшую улицу деревни, Пьер увидал в первый раз мужиков-ополченцев с крестами на шапках и в белых рубашках, которые с громким говором и хохотом, оживленные и потные, что-то работали направо от дороги, на огромном кургане, обросшем травою... Вид этих работающих на поле сражения бородатых мужиков... подействовал на Пьера сильнее всего того, что он видел и слышал до сих пор о торжественности и значительности настоящей минуты».

Название поля и деревни рядом с ним еще не вошло в историю: офицер, к которому обратился Пьер, еще путает его: «Бурдино или как?» — другой поправляет: «Бородино». Но на лицах всех встреченных Пьером людей — общее «выражение сознания торжественности наступающей минуты», и сознание это так серьезно, что во время молебна даже присутствие Кутузова со свитой не привлекло внимания: «ополченцы и солдаты, не глядя на него, продолжали молиться».

«В длинном сюртуке на огромном толщиной теле, с сутуловатой спиной, с открытой белой головой и с вытекшим, белым глазом на оплывшем лице» — таков Кутузов перед Бородином. Опустившись на колени перед иконой, он потом «долго пытался и не мог встать от тяжести и слабости». Эта многократно подчеркнутая Толстым физическая немощность главнокомандующего толь-

ко усиливает впечатление духовной мощи, исходящей от него. Сегодня, перед сражением, он преклоняет колени перед иконой — так же, как люди, которых он завтра пошлет в бой; так же, как солдаты, он чувствует торжественность настоящей минуты.

Но Толстой не дает нам забыть, что есть и другие люди. Они знают свое: «за завтрашний день должны... быть розданы большие награды и выдвинуты вперед новые люди». Первый среди этих ловцов наград и выдвижений, конечно, Борис Друбецкой в длинном сюртуке и с плетью через плечо, «как у Кутузова». Казалось бы, Борис уже ничем не может нас удивить, и все-таки светская любезность его тона поражает: «Милости прошу у меня ночевать, и партию составим»,— как будто он встретил Пьера в Английском клубе, как будто завтра не решается судьба России!

С легкой, свободной улыбкой он сначала, доверительно понизив голос, ругает Пьеру левый фланг и осуждает Кутузова, потом, заметив приближающегося адъютанта Кутузова, хвалит и левый фланг, и главнокомандующего. И ведь он с этим своим талантом всем понравиться «сумел удержаться при главной квартире», когда Кутузов выгнал многих, ему подобных. Вот и сейчас он ловко находит слова, которые могут быть приятны главнокомандующему, и говорит их Пьеру, рассчитывая, что Кутузов услышит:

«— Ополченцы — те прямо надели чистые, белые рубахи, чтобы приготовиться к смерти. Какое геройство, граф!»

Он рассчитал правильно: Кутузов услышал эти слова, запомнил их — и с ними Друбецкого. Но Пьера все это не может обмануть. Он уже не тот двадцатилетний мальчик, с которым Борис так легко справился в задней комнате безуховского дома. Пьер ничего не понимает в позициях и флангах, не умеет даже отличить наши войска от французских, но людей он теперь знает, и не Борису его провести.

Пьер видит на лицах штабных офицеров оживление, но он понимает, что «причина возбуждения, выражавшегося на некоторых из этих лиц, лежала больше в вопросах личного успеха, и у него не выходило из головы то другое выражение возбуждения, которое он видел на других лицах и которое говорило о вопросах не личных, а общих, вопросах жизни и смерти».

Но и его, и нас ждет неожиданная радость — перед Кутузовым появляется Долохов. «Ежели вашей светлости понадобится человек, который бы не жалел своей шкуры, то извольте вспомнить обо мне...» — грубовато говорит Долохов. Он опять разжалован, и офицеры знают, что «ему выскочить надо», но невольно восхищаются им: «Какие-то проекты подавал и в цепь неприятельскую ночью лазил... но молодец!»

Невозможно представить заранее, что сделает Долохов, увидев Пьера, с которым он расстался так давно, в Сокольниках, когда его, раненного, увозили после дуэли. Невозможно поверить, что Долохов может извиниться перед кем бы то ни было, просить прощения, но он делает это.

«— Очень рад встретить вас здесь, граф,— сказал он ему громко и не стесняясь присутствием посторонних, с особенной решительностью и торжественностью.— Накануне дня, в который бог знает кому из нас суждено остаться в живых, я рад случаю сказать вам, что я жалею о тех недоразумениях, которые были между нами, и желал бы, чтобы вы не имели против меня ничего. Прошу вас простить меня».

Этот злой, жестокий, беспощадный человек, оказывается, честен. В день накануне Бородина люди разделяются просто: на честных и бесчестных, и Долохов — с Пьером и ополченцами, с Кутузовым и князем Андреем.

Пьер и сам не мог бы объяснить, зачем он поехал на Бородинское поле. Он знал только, что невозможно оставаться в Москве, что нужно ехать. Он хотел видеть своими глазами то непонятное ему и величественное, что должно было решить его судьбу и судьбу России. Но в его решении была еще одна причина: он должен был увидеть князя Андрея, который мог объяснить ему происходящее. Только ему мог поверить Пьер, только от него ждал в этот переломный момент своей жизни каких-то важных, решающих слов.

И вот они встречаются. Князь Андрей холоден, почти враждебен — Пьер невольно, одним своим видом напоминает ему о прежней жизни, о Наташе, а князь Андрей не хочет сейчас помнить об этом. Все, что он говорит, звучит злобно, как звучали в последнее время почти все слова его отца. Но, разговорившись, князь Андрей невольно совершает то, чего ждал от него Пьер,— объясняет положение дел в армии. Как и все солдаты, как большин-

ство офицеров, он считает величайшим благом отстранение Барклая и назначение Кутузова: «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой, и был прекрасный министр, но как только она в опасности, нужен свой, родной человек».

Через двадцать три года Пушкин напишет о Барклае де Толли стихотворение «Полководец»; читая его, мы поймем трагедию полководца, непонятого и нелюбимого армией, отстраненного от командования:

> Народ, таинственно спасаемый тобою,
> Смеялся над твоей священной сединою...—

так увидит Барклая Пушкин — после победы над Наполеоном.

Толстой показывает, что думали и чувствовали люди в разгар войны, когда войска Наполеона неотвратимо приближались к Москве. Князь Андрей понимает, что Барклай не изменник, что он честный военный человек, и не его вина, если армия и народ верят Кутузову, а не ему. После Аустерлица князь Андрей уже не может верить распоряжениям штабов, он говорит Пьеру: «Поверь мне... ежели бы что зависело от распоряжений штабов, то я бы был там и делал бы распоряжения, а вместо того я имею честь служить здесь, в полку, вот с этими господами, и считаю, что от нас действительно будет зависеть завтрашний день, а не от них...»

Кутузов для князя Андрея — человек, который понимает, что успех войны зависит «от того чувства, которое есть во мне, в нем,— он указал на Тимохина,— в каждом солдате».

После этого разговора «тот вопрос, который с Можайской горы и во весь этот день тревожил Пьера, теперь представился ему совершенно ясным и вполне разрешенным... Он понял ту скрытую... теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел, и которая объясняла ему то, зачем все эти люди спокойно и как будто легкомысленно готовились к смерти».

Но и для князя Андрея разговор с Пьером был важен. Как это часто бывает, высказывая свои мысли другу, он сам яснее понял то, о чем в одиночестве думал сбивчиво — и, может быть, ему стало жаль своей жизни, своей дружбы с этим громадным нелепым Пьером, чья судьба тоже должна решиться завтра, как судьбы всех. Но князь Андрей — сын своего отца, в ни в чем не проявятся эти



его чувства; только взвизгнет несколько раз его голос, и опять «тонким, пискливым голосом», как у старого князя, он признается Пьеру: «Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла... Ну, да не надолго! — прибавил он».

Он почти насильно выставил Пьера от себя, но, прощаясь, «быстро подошел к Пьеру, обнял его и поцеловал.

— Прощай, ступай,— прокричал он.— Увидимся ли, нет...— и он, поспешно повернувшись, ушел в сарай».

Эта сцена до боли напоминает его собственное прощанье с отцом перед отъездом на войну 1805 года, когда старый князь сердитым, пронзительным голосом кричал сыну: «Простились... ступай!» И как старый князь тогда, оставшись один, вспомнил, может быть, своего сына ребенком, так сейчас князь Андрей вспомнил Наташу и все светлое, что было в его любви к ней,— и, «как будто кто-нибудь обжег его», он вспомнил Анатоля, который до сих пор «жив и весел».

Вот о чем спрашивал себя Пьер, проезжая мимо ополченцев и солдат: как они могут думать о чем-нибудь, кроме смерти? А они думают о жизни, пока живы, и князь Андрей думает о жизни — этим и сильны они все.

И вот наступает 26 августа — день Бородина. Вместе

с Пьером мы видим очень красивое зрелище: пробивающееся сквозь туман яркое солнце, вспышки выстрелов, «молнии утреннего света» на штыках войск... Пьеру, как ребенку, «захотелось быть там, где были эти дымы, эти блестящие штыки и пушки, это движение, эти звуки». Он долго еще ничего не понимал: приехав на батарею Раевского, «никак не думал, что это... было самое важное место в сражении», не замечал раненых и убитых... В представлении Пьера война должна быть торжественной, а она оказалась не праздником, не парадом; для Толстого война — тяжелая, будничная и кровавая работа. Вместе с Пьером мы внезапно начинаем видеть это, вместе с ним ужасаемся тому, что видим.

Но и сам Пьер предстает перед нами в новом свете, когда прохаживается по батарее под выстрелами «так же спокойно, как по бульвару». Мы радуемся и гордимся, когда возникшее сначала на батарее «чувство недоброжелательного недоуменья к нему стало переходить в ласковое и шутливое участие»; вместе с солдатами батареи мы чувствуем душевную силу, возникшую и разгорающуюся в Пьере.

Солдаты удивляются, что Пьер не боится. Пьер, в свою очередь, удивляется: разве они боятся? «А то как же? — отвечал солдат.— Ведь она не помилует. Она шмякнет, так кишки вон. Нельзя не бояться,— сказал он, смеясь».

Так здесь, при Бородине, Толстой возвращается к тому, что показал при Шенграбене в маленьком капитане Тушине, чему научил Ростова долгим военным опытом: мужество не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы делать свое дело, не слушаясь страха.

И вот наступает момент, когда «ярко во всех лицах горел тот огонь, за разгоранием которого следил Пьер». Заряды кончились — за ними побежал солдат и следом Пьер, а тем временем на батарею ворвались французы; Пьера едва не убило взорвавшимся ящиком со снарядами, и он, в ужасе побежав обратно на батарею, налетел прямо на француза в синем мундире. «Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать. «Я ли взят в плен или он взят в плен мною?» — думал каждый из них».

Зачем Толстому нужно так подчеркивать неразбериху, происходящего на войне? Конечно, Пьеру простительно

не понимать, кто кого взял в плен, но ведь французский офицер тоже недоумевает!

Толстой стремился показать войну глазами ее участников, современников. Но иногда он все-таки смотрит на нее с расстояния полувека — не из 1812, а из 1862 года. Он видит и плохую организацию, и неудачные планы, и удачные планы, которые рушатся из-за плохой организации. Все это приводит его к мысли о ненужности планов и руководства вообще — с этой мыслью Толстого нам трудно согласиться.

Но, кроме того, у Толстого есть еще одна цель. В начале третьего тома он сказал, что война — «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Прошлой войне вообще не было оправданий, потому что вели ее императоры, а народам она не была нужна. В этой войне есть правда: когда враг приходит на твою землю, ты вынужден защищаться,— это и делала русская армия. Но война не становится от этого праздником; она по-прежнему остается грязным, кровавым делом — и только на батарее Раевского Пьер понял это до конца. «Нет, теперь они оставят это, теперь они ужаснутся того, что они сделали!» — думал Пьер, бесцельно направляясь за толпами носилок, двигавшихся с поля сражения.

Но солнце, застилаемое дымом, стояло еще высоко, и... гул выстрелов, стрельба и канонада не только не ослабевали, но усиливались до отчаянности, как человек, который, надрываясь, кричит из последних сил».

Там, где стрельба и канонада «усиливались до отчаянности», был князь Андрей. Полк его стоял в резервах под огнем артиллерии, «не выпустив ни одного заряда, полк потерял здесь еще третью часть своих людей», а многие были убиты раньше. Самое страшное, самое горькое было то, что люди бездействовали: «кто сухой глиной... начищал штык; кто разминал ремень... кто... переобувался. Некоторые строили домики... или плели плетеночки из соломы...» Люди стояли без дела — и их убивали.

Когда читаешь о том, как смертельно ранили князя Андрея, охватывает такой ужас, что забываешь вдуматься в подробности. А самое обидное, что его гибель представляется бессмысленной. Он не бросился вперед со знаменем, как при Аустерлице; он не был на батарее, как под Шенграбеном,— весь его военный опыт и ум уходили на то, чтобы, прохаживаясь по полю, считать шаги и прислушиваться к свисту снарядов.

Он видит войну не так, как Пьер, ему знаком каждый дымок, каждый звук: «Одна, другая! Еще! Попало...», «Нет, пронесло. А вот это попало».

В этом бесцельном хождении настигает его вражеское ядро. (Толстой называет его гранатой, но это именно ядро, а не то, что мы теперь называем гранатой.)

Стоявший рядом с князем Андреем адъютант лег и ему крикнул: «Ложись!» Князь Андрей стоял и думал о том, что не хочет умереть, и «вместе с тем помнил о том, что на него смотрят.

— Стыдно, господин офицер! — сказал он адъютанту.— Какой...— он не договорил».

Что он хотел сказать? Какой пример вы подаете солдатам?! Значит, из-за этого умер от тяжелой раны князь Андрей Болконский — из-за того, что не лег на землю, как адъютант, а продолжал стоять, зная, что ядро взорвется. Неужели нужно было отдать эту прекрасную жизнь только для того, чтобы показать пример?

Он не мог иначе. Он, с его чувством чести, с его благородной доблестью, н е м о г лечь. Всегда находятся люди, которые не могут бежать, не могут молчать, не могут прятаться от опасности. Эти люди гибнут, но они — лучшие. И гибель их не бессмысленна: что-то она рождает в душах других людей, не определимое словами, но очень важное.

Князь Андрей еще не умер — жизнь еще пошлет ему встречу с Наташей. Но сейчас его несут к санитарной палатке, и там, потеряв сознание от мучительной боли и очнувшись, «в несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу, он узнал Анатоля Курагина». Столько месяцев князь Андрей гонялся за этим человеком — и вот он перед ним, но нет прежней ненависти: «восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце».

Потому ли все так изменилось, что князь Андрей — на грани смерти? Или потому, что на войне все оборачивается иначе, чем в мирной жизни? Или, как думает он сам, только теперь, когда уже поздно, открылась ему та терпеливая любовь к людям, которой учила его сестра! Никто не может ответить на эти вопросы, но когда впервые читаешь «Войну и мир» и по этой книге узнаешь войну, только здесь, в санитарной палатке, начинаешь вполне разделять ненависть Толстого к безжалостной кровавой бойне.

А Наполеон в это время, *«желтый, опухлый, тяжелый, с мутными глазами, красным носом и охриплым голосом...* сидел на складном стуле, невольно прислушиваясь к звукам пальбы... Он с *болезненной тоской* ожидал конца того дела, которого считал себя причиной, но которого он не мог остановить». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Здесь впервые Толстой показывает его естественным. Накануне битвы он долго и с удовольствием занимался своим туалетом, затем принял приехавшего из Парижа придворного и разыграл небольшой спектакль перед портретом своего сына...

Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе.
Но в цвете надежды и силы
Угас его царственный сын..

Трагедия отца, обреченного на разлуку с ребенком, была особенно понятна и близка Лермонтову, с детства оторванному от своего отца. Но и другие писатели жалели Наполеона, страстно любившего своего сына и потерявшего его. О горе императора было написано немало стихов, пьес, рассказов.

Толстой знает, что впереди — остров Святой Елены и вечная разлука с сыном, что сын умрет юным. Но он не жалеет Наполеона. Ему кажется напускной, фальшивой эта выставленная напоказ отцовская любовь. Толстому ближе сдержанные чувства; его оскорбляет то, что Наполеон любуется портретом сына чуть ли не на глазах всей армии. Открытые проявления любви представляются ему недостойным спектаклем.

Для Толстого Наполеон — воплощение суетности, той самой, которую он ненавидит в князе Василии и Анне Павловне, той самой, какую считает худшим качеством человека. Настоящий человек, по мнению Толстого, не должен заботиться о впечатлении, которое он производит, а должен спокойно и величественно отдаться воле событий. Таким он рисует Кутузова.

«Кутузов сидел, понурив седую голову и опустившись тяжелым телом, на покрытой ковром лавке, на том самом месте, на котором утром его видел Пьер. Он не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему».

Наполеону посвящены семь глав из двадцати, описывающих Бородинскую битву. Кутузову — только одна. Наполеон во всех этих главах напряженно-деятелен: он одевается, переодевается, принимает посланцев из Парижа и Мадрида, отдает распоряжения, диктует приказ по армии, дважды объезжает позицию, заботится о рисе, который должны выдать гвардейцам... В разгар сражения к нему «беспрестанно прискакивали... его посланные адъютанты и ординарцы его маршалов с докладами о ходе дела». Он отдавал распоряжения — и все-таки чувствовал, что проигрывает ту игру, в которой всегда был удачлив.

Кутузов сидит на одном месте и как бы дремлет. Ему тоже привозят донесения, но он выслушивает их и не отдает никаких приказаний. «Поезжай... и подробно узнай, что и как»,— говорит он адъютанту. «Съезди, голубчик... посмотри, нельзя ли что сделать»,— просит Ермолова. Когда вокруг него начинают слишком уж ликовать, он, улыбаясь, говорит, что лучше подождать радоваться.

Но когда ему сообщают, что войска разбиты и бегут, Кутузов, нахмурившись, кричит: «Как вы... как вы смеете!..» — и снова кричит, задыхаясь, чуть не плача, крестясь: «Неприятель побежден, и завтра погоним его из священной земли русской...»

Наполеон отказался завтракать и грубо выругался, когда ему осмелились вторично предложить подкрепиться. Кутузов в разгар событий «с трудом жевал жареную курицу» и едва не заснул на своей скамье, но он знал то, чего не знал Наполеон: «что решают участь сраженья не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войска», о которой еще вчера говорил Пьеру князь Андрей.

Эта сила, по мнению Толстого, определила нравственный исход сражения. Наполеон приказал направить двести орудий на русских — ему доложили, что приказ выполнен, «но что русские все так же стоят.

— Наш огонь рядами вырывает их, а они стоят,— скзал адъютант».

Вот с этого момента и Наполеон, и вся его армия постепенно начали испытывать «чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв *половину* войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения». (Курсив Толстого.)

Впервые Наполеону некогда думать о впечатлении, какое он производит. Желтый и опухший, с красным носом (накануне он простудился, и теперь его мучит насморк), он уже не заботился о том, что солдаты увидят его в таком непривлекательном виде. Пока ему сопутствовала удача, он не думал о вероятности поражения, о том, что сам он может быть убит или ранен. Он жил в фантастическом мире вечного успеха, и сам верил, что неуязвим, что его победы неизбежны. Теперь ему пришлось вернуться к действительности; пришлось понять, что в этой войне Кутузов превзошел его как полководец; им одержана «победа нравственная», потому что на французов «в первый раз под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника».

8. Совет в Филях

Когда роман Толстого вышел в свет, далеко не вся критика была в восторге от этого произведения. Один из участников Бородинской битвы писал, что он не мог «без оскорбленного патриотического чувства дочитать этот роман, имеющий претензию быть историческим». Другой критик обратился к Толстому с такими словами: «Какой бы великий художник вы ни были, каким бы великим философом вы себя ни мнили, а все же нельзя безнаказанно презирать свое отечество и лучшие страницы его славы».

Что же так оскорбляло этих людей, в чем они видели презрение Толстого к своему отечеству? В той правде, которую сказал писатель о войне. Им хотелось бы прочесть книгу о легкой, бескровной победе над Наполеоном. Их не устраивало то, что война в книге Толстого — некрасива, безобразна, безнравственна.

«Над всем полем, прежде столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что вы делаете?».

Такая война не нравилась некоторым критикам. Им хотелось прочесть о войне, описанной Бергом: «Армия горит духом геройства... такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они... выказали в этой битве 26-го числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать...» Но эти люди, предпочитающие манеру Берга, ошибались: патриотическое чувство в книге Толстого было, и оно было честнее и сильнее, чем заклинания противников романа. Война у Толстого выглядела некрасиво и устрашающе, но люди шли на нее без громких слов, потому что не могли не идти; когда решалась судьба России, они вставали на защиту своей страны, зная, что пуля не помилует, и стояли насмерть. Так видел войну Толстой, и это ценили в нем другие современники.

Первый подробный разбор «Войны и мира» сделал критик Н. Н. Страхов. Он писал, что «Война и мир» подымается до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств, до вершин, обыкновенно недоступных людям».

Глава о совете в Филях принадлежит, по-моему, к тем вершинам человеческих мыслей и чувств, о которых писал Страхов.

Толстой мог бы рассказать о военном совете, на котором решилась судьба Москвы, с точки зрения одного из генералов — например, Бенигсена, спорившего с Кутузовым. Бенигсен считал, что Москву нельзя отдавать без боя, и, вероятно, в душе ненавидел и презирал Кутузова, решившегося на такой шаг.

Можно было показать совет глазами Кутузова, одинокого в своем неколебимом решении спасти армию и для этого отдать Москву.

Толстой выбрал иной путь. Смелость, с которой он показал Бородинское сражение глазами ничего не понимающего Пьера,— даже эта смелость меркнет перед решением показать совет в Филях глазами ребенка, шестилетней крестьянской девочки Малаши, забытой на печке в комнате, где идет совет.

Малаша не знала того, о чем мы прочли в предыдущих главах: Кутузов еще в день Бородина хотел атаковать французов, но это оказалось невозможно из-за огромных потерь, понесенных армией. Малаша не знала, что один только вопрос занимает теперь Кутузова: «Неужели это я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал?»

Но Малаша видела, что «дедушка» (так она про себя называла Кутузова) сидел отдельно от всех, «беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто жал его шею».

Глазами ребенка мы еще острее видим, как грустен Кутузов, как ему тяжело, как он прячется в темном углу и не хочет, чтобы члены совета видели его лицо.

Все долго ждали Бенигсена, который «доканчивал свой вкусный обед под предлогом нового осмотра позиции». Но, едва войдя в избу, он открыл совет вопросом: «Оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?»

Несколько дней назад на Бородинском поле мы слышали, как Кутузов сказал, что скоро неприятеля погонят «из священной земли русской», — и перекрестился и всхлипнул. Эта сцена вызвала у нас волнение, жалость, гордость — множество чувств, только не раздражение.

Теперь Бенигсен говорит о священной столице — и это раздражает, как скрип ножа по стеклу; напыщенностью веет от его слов — почему?

Малаша ни слов этих не поняла, ни, тем более, не могла бы почувствовать в них фальши, но в душе она невзлюбила «длиннополого» Бенигсена так же безотчетно и сильно, как полюбила «дедушку» Кутузова. Она заметила другое: Кутузов «точно собрался плакать», услышав слова Бенигсена, но справился с собой. Он почувствовал «фальшивую ноту» слов Бенигсена и подчеркнул ее, повторив сердитым голосом: «Священную древнюю столицу России!..»

Бенигсен думает только об одном — как он выглядит на военном совете. Многим из присутствующих генералов больно и тягостно обсуждать вопрос: оставить ли Москву. Но многие, и Бенигсен в их числе, озабочены тем, как бы снять с себя ответственность за то, что неминуемо произойдет. Произнести такие слова, которые потом, позже, будут красиво выглядеть в истории. Вот почему его слова нестерпимо слышать: даже у ворот Москвы он думает не о судьбе России, а о своей роли в этой судьбе.

Кутузов о себе не думает. Для него существует один вопрос: «Спасенье России в армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?»

Малаша не понимала, что другие генералы тоже участвуют в споре. «Ей казалось, что дело было только в личной

борьбе между «дедушкой» и «длиннополым»... и в душе своей она держала сторону дедушки».

Глядя на совет глазами Малаши, мы ничего не слышим, но замечаем «быстрый лукавый взгляд», брошенный Кутузовым на Бенигсена, и понимаем, что «дедушка, сказав что-то длиннополому, осадил его». Кутузов напомнил Бенигсену его поражение в битве при Фридланде, где он выдвигал те же предложения, что и сейчас, и наступило молчание.

Глава о совете в Филях умещается на трех страницах, но она одна из самых важных в романе не только потому, что в ней решается роковой вопрос об оставлении Москвы. Глава эта потому поднимается «до высочайших вершин человеческих мыслей и чувств», что в ней идет речь о той степени ответственности, которую иногда, в трудные минуты, человек бывает обязан взвалить на себя; о той степени ответственности, на какую способны далеко не все люди.

Вот сколько их сидит, боевых генералов, и вовсе не все они такие, как Бенигсен; среди них — храбрецы,



герои: Раевский, Ермолов, Дохтуров... Но ни один из них не решается взять на себя ответственность и произнести слова: нужно оставить Москву, чтобы спасти армию и тем спасти Россию.

Потому и наступило молчание, что все поняли доводы Кутузова, но никто не решился их поддержать. Только один Кутузов, зная, что его будут обвинять во всех смертных грехах, имеет мужество забыть о себе: «медленно приподнявшись, он подошел к столу.

— Господа, я слышал ваши мнения. Некоторые будут несогласны со мной. Но я (он остановился) властью, врученной мне моим государем и отечеством, я — приказываю отступление».

И снова — эти высокие слова: «властью, врученной мне моим государем и отечеством»,— в устах Кутузова не только не раздражают, они естественны, потому что естественно и величественно чувство, породившее их.

Оставшись один, он думает все о том же: «Когда же, когда же наконец решилось то, что оставлена Москва?



Когда было сделано то, что решило вопрос, и кто виноват в этом?»

Он не винит Барклая или кого-нибудь еще, не оправдывает себя, не думает о том мнении, какое будет теперь иметь о нем петербургский свет и царь,— он терзается за свою страну...

«Да нет же! Будут же они лошадиное мясо жрать, как турки...» — кричит он поздно ночью те же слова, которые сказал князю Андрею, когда только что был назначен главнокомандующим...

И будут. Именно потому будут, что старый немощный человек нашел в себе силы медленно подняться на военном совете в крестьянской избе в Филях и взять на себя ответственность за отступление от Москвы.

9. *Что такое патриотизм?*

Вы помните длиннолицую княжну Катишь, кузину Пьера? Ту самую, у которой волосы были всегда так гладко причесаны, что казалось «сделаны из одного куска с головой»? Ту, что вместе с князем Василием собиралась припрятать завещание старого графа Безухова, хранившееся в мозаиковом портфеле, и тем самым ограбить Пьера?

Малоприятная особа. Но вот в августе 1812 года она явилась в кабинет Пьера, поскольку до сих пор продолжает жить в его доме. Пьер объяснил ей, что французы в Москву не придут, но княжна ответила: «Я об одном прошу... прикажите свезти меня в Петербург: какая я ни есть, а я под бонапартовской властью жить не могу»

Пьер попытался внушить ей, что опасности нет (это было еще до Бородинского сражения), но княжна отвечала: «Я вашему Наполеону не покорюсь». И уехала на другой день к вечеру.

Даже Жюли Карагина-Друбецкая со своими штрафами за французские слова, со своими сплетнями, поклонниками, ужимками — со всей своей фальшью, даже она становится искренней, когда объясняет, почему решила уехать из Москвы: «Я еду, потому... ну потому, что все едут, и потом я не Иоанна д'Арк и не амазонка...»

Даже в ее птичьей голове есть твердое убеждение:

остаться можно для того, чтобы бороться, а не можешь бороться — уезжай. Другого выхода нет.

Никто не заставлял москвичей уезжать — наоборот, московский главнокомандующий граф Растопчин долгое время уговаривал их остаться и называл трусами тех, кто едет. Но они ехали «потому, что для русских людей не могло быть вопроса: хорошо ли или дурно будет под управлением французов в Москве. Под управлением французов нельзя было быть: это было хуже всего... Та барыня, которая еще в июне месяце с своими арапами и шутихами поднималась из Москвы в саратовскую деревню, с смутным сознанием того, что она Бонапарту не слуга... делала просто и истинно то великое дело, которое спасло Россию».

Где уж понять это Бергу, произносящему красивые слова о геройстве русских войск перед растерявшимся старым графом Ростовым: «Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), — я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что-нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти... да, мужественные и древние подвиги...» Но тут же от красивых слов он переходит к делу: «Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом... И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете?..»

Они всегда находятся, эти люди, наживающиеся на общей беде, скупающие по дешевке мебель, картины, вещи тех, кого горе гонит с насиженных мест. Они всегда искренни — как беспредельно искренен Берг в своем стремлении купить шифоньерочку и туалет «с аглицким секретом»; ему и в голову не приходит, что сейчас *стыдно* думать о шифоньерочках.

Но выясняется, что при трагических обстоятельствах люди все-таки лучше, чем можно было бы подумать. Ни от княжны Катишь, ни тем более от Жюли мы не ждали такого простого и естественного поведения: «Наполеону не покорюсь», а они оказались способны на него.

Когда Наполеон 2 сентября утром стоял на Поклонной горе, ожидая депутацию бояр с ключами от города, он не мог себе представить, что Москва пуста.

Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою...

Так писал об этом Пушкин. Толстой подробно рассказывает, как Наполеон создавал в уме речь, чтобы произнести ее перед боярами, как он хотел быть великодушен и благороден, и милостив к побежденному врагу — и как все это сорвалось, потому что Москва была пуста. Уехали еще в начале июля дворяне, для которых французский язык был родным, пока французы не пришли на их землю. Уехали и ушли пешком купцы, мастеровые, ремесленники.

А те, кто остались — их было всего около десяти тысяч на огромный город, — собрались у дома графа Растопчина в то самое утро 2 сентября, когда Наполеон на Поклонной горе ждал депутацию.

«— Что ж, господа да купцы повыехали, а мы за то и пропадаем? Что ж, мы собаки, что ль!» — слышалось чаще в толпе».

Растопчин, выглянув из окна, понял, что возмущенная толпа способна растерзать его. Он так долго убеждал народ, что француз не будет в Москве,— теперь всем стало ясно, что он обманщик. А он не обманщик вовсе — он и сам до последнего верил тому, что говорил. Просто он, как Бенигсен, как другие, думал не о Москве, а о своей роли в защите Москвы — он играл эту роль упоенно, вылавливал шпионов и изменников, а если их не оказывалось, хватал первых попавшихся людей и объявлял их изменниками. Так он и Пьера счел подозрительным, так приказал арестовать купеческого сына Верещагина, хотя никакая вина его не была доказана.

Но сейчас, увидев бушующую толпу и поняв, что она требует жертвы, он вспомнил о Верещагине, велел привести его и отдал на растерзание толпе.

«— Бей его!.. Пускай погибнет изменник и не срамит имя русского! — закричал Растопчин.— Руби! Я приказываю!»

Возбужденная им толпа бросилась на Верещагина и растерзала его. Это освободило дорогу графу Растопчину. Но, выезжая из Москвы, он встретил выпущенных по его же приказу из больниц сумасшедших. Один из них странно напомнил Растопчину Верещагина, и «он



ясно чувствовал теперь, что кровавый след этого воспоминания никогда не заживет...»

Растопчин — один из самых нелюбимых Толстым героев романа; Толстой издевается над его лихорадочной и пустой деятельностью, над его глупыми «афишками», которыми он намеревается поддерживать в народе патриотический дух; и наконец, Толстой показывает его преступление: спасаясь от народного гнева, он отправил на смерть ни в чем не повинного человека.

Растопчин понятен. Но зачем Толстому понадобилось так подробно, так невыносимо ярко рисовать картину зверского убийства Верещагина?

Затем, что он хотел показать: сила народной толпы огромна и может быть злой, если ее направить на зло. Люди из толпы сами по себе добры. Сколько их видел Пьер по дороге к Бородину и на обратном пути! Когда он, усталый и измученный, прилег у дороги, около него расположились трое солдат: «развели огонь, поставили на него котелок, накрошили в него сухарей и положили сала». Голодный Пьер «приподнялся и вздохнул». Солдаты накормили его и проводили до Можайска, где он нашел своих. Эти же самые солдаты могли оказаться у дома графа Растопчина и убивать Верещагина, оставаясь при этом добрыми, но обманутыми людьми.

Толстой знает: патриотизм — не простое чувство. Потому он и рисует зверскую сцену убийства в самый

трудный день, когда войска Наполеона войдут в Москву. Граф Растопчин, обманывающий себя и народ, твердя, что французы не войдут в Москву, считал себя наилучшим патриотом; в результате его деятельности из Москвы не успели вывезти половину ценностей, а главное — не успели уйти люди, и погибли многие, кто мог бы жить.

Как и все лучшие человеческие чувства, патриотизм — по мнению Толстого — это естественное движение души, и уже поэтому граф Растопчин не может быть истинным патриотом: естественное ему чуждо.

Вы помните, как вела себя все эти дни Наташа? Ростовы, до сих пор не успевшие уехать, были заняты укладыванием своего добра. «Наташе совестно было ничего не делать в доме, тогда как все были так заняты... но душа ее не лежала к этому делу; а она не могла и не умела делать что-нибудь не от всей души, не изо всех своих сил».

Что могло заставить Наташу опомниться от своего безделья, от задумчивости, в которую погрузил ее вид старого бального платья? Она увидела раненых и пригласила их остановиться в доме. После этого она поняла, что все заняты делом, одна она позволяет себе думать о своем, предаваться своим воспоминаниям и горестям, когда война у ворот.

Поэтому она «с свойственной ей во всем страстностью» бросилась укладывать ковры и фарфор, закрывать ящики, и за несколько часов все было разумно уложено.

Но тут произошел конфликт между ее родителями. Граф «по своей простоте» приказал снять с подвод некоторые вещи и взять раненых. Графиня сурово сказала ему: «Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство... Пожалей хоть не меня, так детей...»

Графиня помнит то, чего не помнит граф: Ростовы разорены. То, что лежит в этих ящиках,— в сущности, единственное достояние семьи. Если оно погибнет, Наташа останется бесприданницей. А о ней ходят дурные слухи: отказала хорошему жениху, ее пытались тайно увезти... Кто женится на ней без приданого? И вдобавок Николай хочет жениться на бесприданнице Соне — откуда будет взять средства, если погибнет это последнее?

Графиня думает не о себе — о детях. Она говорит своему мужу совершенно справедливые слова — с ее точки зрения. Но — безобразные и безнравственные с точки

зрения той морали, по которой живет Наташа и о существовании которой не подозревает Берг. Он-то хорошо понял графиню и «родственно-почтительно утешал ее», хотя ему и не дали мужиков, чтобы вывезти шифоньерочку.

А Наташа не хочет и не может понять мать, потому что она совершенно естественно не думает в эту минуту ни о своем приданом, ни об имуществе семьи, а думает о раненых, которых нельзя оставить французам. Поэтому она «с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери.

— Это гадость! Это мерзость! — закричала она.— Это не может быть, чтобы вы приказали».

Наташа, со своей чуткостью, не может говорить с матерью в таком тоне; она тут же просит прощенья за свою резкость, но в главном она не уступит ни за что: «Маменька!.. Это не может быть!..»

И графиня сдалась.

«— Яйца... яйца курицу учат...— сквозь счастливые слезы проговорил граф и обнял жену, которая рада была скрыть на его груди свое пристыженное лицо».

А Наташа, теперь уже сознавая смысл того, что она делает, принялась руководить освобождением подвод. Приходило ли ей на ум, что она для этих раненых, может быть, принесла в жертву всю свою будущую жизнь? Нет, не приходило, потому что думать о себе в эту минуту было бы дико и неестественно. Старая графиня поняла это и устыдилась. А граф Растопчин не стыдится, и Берг не стыдится.

Так отвечает Толстой на вопрос: что такое патриотизм? Не громкие слова, не шумная деятельность и суетливость, а простое и естественное чувство «потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастия». Это чувство — общее у Наташи и Пьера, оно же владело Петей Ростовым, когда он ликовал, что попал в Москву, где скоро будет сражение; его испытывала старая служанка Ростовых Мавра Кузьминишна, отдавая свои накопленные деньги незнакомому офицеру, похожему на ее господ; и то же чувство влекло толпу к дому обманувшего ее графа Растопчина, потому что люди из толпы шли вовсе не убивать Верещагина, они хотели сражаться с Наполеоном.

Все эти поступки и намерения, при всей их разности, были патриотическими, потому что, задумывая или совершая их, люди думали *не о себе*.

10. Необыкновенные приключения русского графа во время войны с французами

ЧАСТЬ I. НЕЗАКОННЫЙ СЫН

Глава 1. Сын миллионера приезжает из Парижа
Глава 2. Роковое пари
Глава 3. Полицейский на медведе
Глава 4. Тайна мозаикового портфеля
Глава 5. Граф умер — да здравствует граф!

ЧАСТЬ II. ВЕЛЬМОЖА

Глава 1. Красавица любуется табакеркой
Глава 2. Граф в халате
Глава 3. Добрые дела миллионера
Глава 4. Дуэль
Глава 5. Новая любовь

ЧАСТЬ III. ПЛЕННЫЙ

Глава 1. Великая битва
Глава 2. Графа подозревают
Глава 3. Миллионер исчез из дома
Глава 4. Переодетый граф ищет оружие
Глава 5. Встреча с любимой
Глава 6. Пистолет в руках сумасшедшего
Глава 7. Убить Наполеона!
Глава 8. Граф спасает ребенка из пылающего дома
Глава 9. Ожерелье красавицы армянки
Глава 10. Под конвоем французских улан

ЧАСТЬ IV. СЧАСТЛИВЕЦ

Глава 1. Суд над поджигателями
Глава 2. Русский граф и французский маршал
Глава 3. Расстрел
Глава 4. Лиловая собачонка
Глава 5. Освобождение
Глава 6. Встреча в Москве
Эпилог. Счастливая семья графа

Так или примерно так выглядело бы оглавление романа о Пьере Безухове, если бы его написал другой писатель, не Толстой. Одни только приключения Пьера в занятой французами Москве могли бы составить увлекательнейший роман вроде «Графа Монте-Кристо».

Подумать только, этот богач, одевший и вооруживший на свои средства полк в тысячу солдат (вспомните, сколь-

ко усилий нужно было приложить д'Артаньяну, чтобы купить себе лошадь и мундир мушкетера), этот миллионер прячется в чужом доме, в соседней комнате с сумасшедшим, просит чужого слугу достать ему кучерский кафтан и пистолет!

От кого он прячется? Тут сплетение обстоятельств, достойное романов Дюма. Всесильный главнокомандующий Москвы Растопчин недоволен его связями с подозрительными лицами и требует, чтобы он немедленно покинул город. Но он не хочет уезжать из Москвы, потому что решил убить Наполеона и тем спасти свое отечество и всю Европу. Кроме того, его жена-красавица требует развода и наш герой избегает объяснений с ее посланным...

Пистолет, который ему достали, попадает в руки сумасшедшего — тот стреляет в вошедшего в дом французского офицера. Наш граф отводит руку безумца и спасает француза... Какая трогательная сцена дружбы двух вчерашних врагов! В порыве откровенности благородный граф открывает новому другу великую тайну своей жизни: он много лет любит одну женщину, любил ее еще девочкой, и эта любовь останется с ним навеки.

Наутро после разговора со спасенным французом граф отправляется исполнить свое намерение и убить Наполеона. Правда, пистолет ему не удается спрятать, приходится взять тупой кинжал, но это его не смущает. По дороге он встречает рыдающую женщину. «Девочку!.. Дочь!..» — кричит женщина.— «Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!»

Благородный граф, конечно, бросается на помощь и находит ребенка в саду горящего дома. Вернувшись с девочкой, он уже не находит ее родителей, но зато встречает молодую армянку, показавшуюся ему «совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными бровями и длинным, необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения».

Французский солдат пытается сорвать с красавицы ожерелье. Но наш граф «бросился на... француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног...» Чем не граф Монте-Кристо со спасенной им гречанкой Гайде?

До сих пор судьба благоприятствовала графу, но теперь она стала к нему сурова: «Из-за угла показался конный разъезд французских уланов» — и граф был взят

под конвой. В нем заподозрили лицо значительное, и, кроме того, все видели его гигантскую физическую силу, поэтому к нему приставили еще четырех уланов сверх нормы.

На долю графа выпало еще много испытаний. Его судили как поджигателя. Он предстал перед самым жестоким из французских маршалов — Даву; на его глазах расстреляли пятерых арестованных, а он стоял шестым...

Но, конечно, все кончается хорошо: граф освобожден из плена русскими партизанами; жена его умерла, и он может теперь жениться на любимой; в эпилоге мы видим крохотного сына на громадной ладони графа; все приключения кончились; впереди — покой и радость...

Почему же Толстой не написал приключенческого романа, а написал «Войну и мир»? Неужели он не мог писать иначе — но успел же он придумать все эти хитросплетения судьбы Пьера Безухова, ведь все они взяты из его романа!

Он действительно не мог писать иначе.

Чтение, увлекательное только по событиям, сменяющим одно другое: спор из-за наследства — завещание — богатство — свадьба — дуэль — плен — расстрел — спасение — опять свадьба — такое чтение приятно и интересно всем, но необходимо оно только неразвитому уму. Лучшие образцы приключенческой литературы — скажем, «Три мушкетера» — непременно несут в себе не только смену событий, но и то, что трогает наши чувства, нравственные идеалы. Мы любим д'Артаньяна не потому только, что он победил во многих дуэлях, перехитрил Ришелье и привез королеве ее подвески.

Мы любим д'Артаньяна прежде всего потому, что он был честным человеком и верным другом, умел любить, защищал достоинство женщины, был благороден, смел и добр. Без всех этих качеств д'Артаньян не был бы нам так дорог.

Но еще дороже — видеть, как человек становится честен, смел и добр, следить за тем, как он сам создает себя, воспитывает себя. Неразвитому уму это может показаться скучным — нужна немалая душевная работа, чтобы научиться видеть увлекательное в том, как формируется человек.

Лев Толстой писал не для тех, у кого неразвитый ум. Он умел придумывать острые, захватывающие сюжеты — мы видим, что умел. Но книги, в которых главное —

внешняя увлекательность, были для него литературой второго сорта.

Он писал свои книги не для того, чтобы просто развлечь нас. Ему хотелось, чтобы мы учились думать и чувствовать, чтобы мы узнавали в его героях себя и сверяли себя с ними, чтобы наша жизнь становилась глубже и значительней; он своими книгами стремился сделать нас богаче.

Поэтому у него Пьер, проходя все свои тяжкие испытания, прежде всего думает. Поэтому у него Пьер вовсе не всегда героичен, чаще он смешон, нелеп, совершает ошибки и кается в них. Поэтому у него Пьер...

Но вернемся к его приключениям.

11. Пьер Безухов

Еще в самом начале наполеоновского нашествия что-то новое, непривычное начало происходить в душе Пьера — а движения души волнуют Толстого больше, чем дуэли, пожары и даже войны.

Когда дворяне и купцы собрались для встречи с царем, Пьер наивно мечтал, что царь будет с ними советоваться. Надежды его не оправдались: царю были нужны деньги от купцов и крепостные от дворян, а мнения их не требовалось. И тем не менее Пьер чувствовал в себе и в других силы, способные принести пользу России, и в душе его все ярче разгорался тот огонь, который сначала привел его к намерению убить Наполеона, потом заставил поехать на Бородинское поле, а вернувшись оттуда, обдумать и пересмотреть всю свою жизнь.

На поле сражения Пьер удивлял солдат своим бесстрашием. Но он боялся — несколько раз его охватывал панический ужас. Он знал, что бояться стыдно, и старался преодолеть свой страх. Только на постоялом дворе в Можайске, очутившись в безопасности, Пьер отдался своему страху: в полусне чудилось ему, что «с ясностью почти действительности послышались бум, бум, бум выстрелов, послышались стоны, крики, шлепанье снарядов, запахло кровью и порохом, и чувство ужаса, страха смерти охватило его».

Стараясь освободиться от страха, Пьер думает о солдатах, которые «все время, до конца были тверды, спокойны...»

Никогда раньше Пьер не задумывался о том, что чувствуют и как живут люди, которых принято называть простыми. Поздним вечером после Бородинского сражения, когда он встретил трех солдат, накормивших его и проводивших до Можайска, привычная мысль пришла ему в голову. «Надо дать им!» — подумал Пьер, взявшись за карман. «Нет, не надо»,— сказал ему какой-то голос».

Так впервые пришла ему мысль о возможности человеческих отношений между ним и солдатами. На постоялом дворе в Можайске он думал уже о том, что они — Толстой выделяет это слово курсивом — «*они* ясно и резко отделялись в его мысли от всех других людей».

И вот Пьер приходит к тому, о чем много думал и сам Толстой, что отразилось в его повести «Казаки», написанной до «Войны и мира», что преследовало его все последние годы жизни, много позже работы над «Войной и миром».

«Солдатом быть, просто солдатом! — думал Пьер, засыпая.— Войти в эту общую жизнь всем существом, проникнуться тем, что делает их такими. Но как скинуть с себя все это лишнее, дьявольское, все бремя этого внешнего человека?»

Всю ночь, просыпаясь и сквозь сон, Пьер решал для себя этот вопрос: как ему, графу Безухову, приобщиться к жизни народа. Может быть, в эту ночь он сделал свой первый решительный шаг к декабризму. Но путь его нелегок и непрост, потому что он — не герой приключенческого романа, а человек со своей единственной жизнью, в которой много раз бывает и страшно, и стыдно, и больно, и радостно.

Да, Пьер ушел из дома, спрятавшись одновременно от графа Растопчина, французских солдат и посланца Элен. Но главное, от чего он ушел,— от своей прежней жизни, заполненной ненужными делами и людьми; ушел к внутренней свободе, к новой естественной жизни, которая, как ему казалось, могла начаться сейчас, когда все вокруг сломано и сдвинуто со своих мест.

В приключенческом романе автор может не показывать читателю, как изменяется характер его героя. Мы с радостным удивлением узнаем в мудром и сдержанном графе Монте-Кристо простоватого матроса Дантеса; нам даже

понятно, что изменения этого характера произошли под влиянием аббата Фариа. Но мы не участвовали в духовном росте будущего графа Монте-Кристо. Нам довольно того, что человек изменился; теперь он живет иначе, поступает иначе.

У Толстого двадцатилетний Пьер в салоне Анны Павловны и тридцатипятилетний Пьер в эпилоге — разные люди: и самая важная для Толстого писательская задача — заставить нас участвовать в изменении характера Пьера, показать нам, как произошло, что неопытный юноша стал зрелым человеком с огромным будущим.

Вот это *как* мы и видели на протяжении многих страниц романа; Пьер ошибался в людях, покорялся своим страстям, совершал неразумные поступки, жил монотонной жизнью члена Английского клуба, отставного камергера — и все время думал, все время был недоволен собой и пересматривал себя.

Теперь, в занятой французами Москве, он возвращается к решению убить Наполеона, «с тем чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы». Благородно? Очень. Достойно Атоса и графа Монте-Кристо. Но Атосу и графу Монте-Кристо все удавалось, потому что они живут в книгах. А Пьер живет в настоящей жизни...

Он еще не тот сильный человек, разумный организатор, умеющий все предвидеть и ничего не забыть, каким он станет в эпилоге. Он только еще двигается по своему пути — и в нем жив нелепый юноша, так же страстно защищавший Наполеона в гостиной Анны Павловны, как он теперь хочет его убить.



Предприятие Пьера обречено на провал, но мы, как и он сам, не сразу понимаем это. Он собирает душевные силы, но не умеет подумать о том, что пистолет велик: его нельзя спрятать под одеждой;

что нужно по меньшей мере точно знать, когда и где проедет Наполеон, а потом уже размышлять, хватит ли решимости его убить.

Оставшись в Москве, Пьер решил скрыть свое знание французского языка. Но при первой же встрече с французом Рамбалем, которого он действительно спас от выстрела сумасшедшего, Пьер забывает свое решение не говорить по-французски. Спасение происходит вовсе не героически: Пьер напуган не меньше Рамбаля; и совсем он не хотел оказаться в положении благородного рыцаря, спасающего своего врага...

Еще более нелеп и даже стыден внезапный порыв откровенности, заставивший Пьера рассказать Рамбалю всю историю своей любви к Наташе — то, чего он не мог бы рассказать ни одному человеку на свете.

Наутро, измученный угрызениями совести, Пьер собрал свою решимость, чтобы все-таки выполнить намерение убить Наполеона. Но теперь он понял, наконец, что пистолет не годится, и взял тупой кинжал, может быть подсознательно понимая и то, что никого этим кинжалом не убьешь.

Зачем Толстой рисует все поступки Пьера в таком странном, почти смешном виде? А затем, что они придуманные, неестественные. Убить Наполеона — трудный и сложный замысел, для его выполнения нужна не только отвага, но хладнокровие, умение все взвесить, обдумать,— этого-то умения у Пьера нет.

Зато у него есть доброта — и когда он бежит по разрушенным дворам в горящий дом искать чужую девочку, этот его поступок так же естествен, как естественно он бросается на помощь женщине, с которой срывают ожерелье. Пересказывая этот эпизод как бы для приключенческого романа, я позволила себе совсем немного сократить слова Толстого, потому что полностью они никак бы не подошли для рассказа о мужественном графе.

На самом деле у Толстого написано так: «Он бросился на *босого* француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уж сбил его с ног и *молотил по нем кулаками*». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Выделенные слова снижают героическую окраску происходящего. Босой француз! В приключенческом романе ему бы следовало быть по крайней мере в доспехах. И может ли благородный герой м о л о т и т ь кулаками по своему противнику!

Все, что случается с Пьером, происходит просто, совсем не возвышенно — как в жизни. И в плен его берут без всяких красивостей: «он бил кого-то, его били и... под конец он почувствовал, что руки его связаны...»

Но после придуманного, неестественного плана убийства Наполеона, которым Пьер «мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное — не по трудностям, но по несвойственности дела со своей природой», после того, как он провел несколько дней в поисках решимости, Пьер на пожаре «как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока».

Здесь было его место, здесь он мог найти применение потребности жертвовать собой, и он «почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным».

Оказалось, что спасти чужую девочку легче, чем нести ее, прижимая к себе: испуганный ребенок визжит «отчаянно-злобным голосом» и кусает своего спасителя «сопливым ртом». Но Пьер «сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка», преодолел чувство гадливости,— все это гораздо менее героично, чем ходить по Москве с кинжалом за пазухой в поисках Наполеона, но требует не меньших душевных усилий, и Пьер находит в себе силы, чтобы в нем победило добро.

В последнюю минуту, когда его уводят французские солдаты, Пьер вдруг возвращается к прежнему неестественному, выдуманному миру: «сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь», он заявляет французам, что спасенная им девочка — его дочь.

Этот детски-нелепый мальчишеский поступок удивил самого Пьера и удивляет нас. Но такие «срывы» могут случиться с каждым человеком на его пути к зрелости, и Толстой не боится показывать их, как не боится представить Пьера в смешном или недостаточно героическом виде. Главное для Толстого — не вызвать у читателей слепое восхищение героем, а заставить нас сочувствовать, сострадать ему, жить его жизнью, разделять его сомнения. Восхищение же наше придет в свой час, когда Пьер достигнет той нравственной высоты, к которой он стремится с первых страниц романа.

IV

...А благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.

1. Графиня Элен Безухова

В то время как Пьер идет по Москве под конвоем французских улан; в то время как Наташа, выбросив из подвод имущество всей семьи, опускается на колени перед раненым князем Андреем; в то время как по горящей Москве скачут солдаты Мюрата и хмурый Наполеон сидит в Кремле,— ничто не изменилось в жизни петербургского света, только «с бóльшим жаром, чем когда-нибудь, шла сложная борьба партий... заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней».

Анна Павловна, как всегда, устраивает вечер — «в самый день Бородинского сражения» — и патриотически упрекает тех своих гостей, кто осмеливается ездить во французский театр. Билибин остроумно шутит, собирая и распуская кожу на лице. Князь Василий читает вслух очередной официальный документ, стараясь «между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения», и все вместе дружно осуждают Кутузова, повторяя, что «нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика».

Кутузов отлично знал и предвидел все это, когда медленно поднялся с места в крестьянской избе в Филях и приказал отступить из Москвы. Кутузов умел подняться

над «трубением придворных трутней» и услышать за гулом их голосов ГОЛОС РОССИИ. Но трутни по-прежнему сильны, они окружают царя, поддерживают его нелюбовь к Кутузову, они прощают друг другу все, но никогда не простят старому главнокомандующему того, что он не такой, как они.

Зато графиню Элен Безухову они оправдают всегда, что бы она ни делала, потому что Элен принадлежит свету, она его отражение и символ, дочь салонов и одновременно — их царица.

С точки зрения нашей, сегодняшней морали нет ничего безнравственного в том, что женщина решила развестись с нелюбимым мужем. Но сочувствовать Элен мы не в силах. Даже если попытаться стать на ее точку зрения: ведь брак ее с Пьером несчастлив не только для него, но и для нее. Элен была так молода, и она даже нравилась нам на первых страницах романа, когда Пьер издали восхищался ею и князь Андрей любовался ее победоносной красотой. Она была очень молода, и все: отец, мать, братья, знакомые, сама Анна Павловна — говорили ей, что брак с Пьером — счастье. Может быть, она поверила им, а потом убедилась, что совершила ошибку. Может быть, она горько раскаялась в ней...

Нет. Каяться, терзаться муками совести графиня Элен не умеет, и в этом ее самый большой грех в глазах Толстого — и в наших тоже. Мы прощаем Наташе и Пьеру все их ошибки; старому князю Болконскому — его приступы злобы и несправедливости; княжне Марье — ее чудовищные мысли у постели умирающего отца, потому что каждый из них осудил себя сам суровее, чем это сделали бы мы.

Элен не судит себя, она всегда найдет себе оправдание — и это делает ее бесчеловечной. Как после дуэли Пьера с Долоховым она лгала Пьеру и думала только о том, что о ней скажут в свете; как в те дни, когда, заботясь о своих развлечениях, она ввела в безуховский дом Бориса Друбецкого; как, забавляясь, свела Наташу с Анатолем,— так и теперь, в дни Бородина и оставления Москвы, она по-прежнему позволяет и прощает себе все, ни на минуту не возникает в ее душе потребность судить себя — потребность, без которой нет человека.

Казалось бы, Элен уже ничем не может удивить нас, но все-таки удивляешься тому, как точно она выбрала время для устройства своих дел: именно те самые дни, когда

все люди — все, кроме придворных трутней,— не думают о своих делах. Поражает ее способность уверить окружающих, что каждый ее поступок естествен, что даже расчетливые колебания между молодым важным лицом и старым важным лицом могут только украсить ее в глазах общества,— все-таки удивляешься той мере цинизма, какой достигла Элен.

Графиня Безухова вырастает в наших глазах в символ зла и безнравственности. Теперь оказалось, что ее красота безобразна.

Война, которая выявляет и подчеркивает все хорошее и дурное, что было в человеке раньше,— война отчетливо проявила то уродливое, бездуховное начало, которое было сущностью Элен всегда.

Она умерла, графиня Элен Безухова. Дочь князя Василия, сестра Ипполита и Анатоля, жена Пьера. Умерла в те самые дни, когда решалась судьба России и многие умирали за свою страну, о которой не думала Элен. Но смерть не очистила ее в наших глазах, потому что умерла она так же, как жила: не думая ни о ком, кроме себя, запутавшись в бесконечном своем эгоизме, и смерть ее так же окружена ложью, как жизнь.

Через несколько месяцев освобожденный из плена Пьер обрадуется, узнав, «что жены и французов нет больше». Нельзя радоваться тому, что человека нет, он умер,— и Пьер, с его обостренным чувством совести, отлично знает это. Знает — и все-таки радуется, и мы не можем осудить его, потому что Элен жила бесчеловечно и умерла бесчеловечно.

А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде? —

так спрашивал уже в наше время замечательный поэт Николай Заболоцкий.

Что есть красота, если Элен умерла и ее не жалко, и брата ее Анатоля не жалко. Что есть красота, если расплывшийся, обрюзгший старик с одним глазом — главнокомандующий Кутузов — представляется нам прекрасным в своем величественном и одиноком мужестве? И смешной круглолицый мальчик Петя Ростов, и его некрасивый, неуклюжий тезка Пьер Безухов прекрасны в наших глазах — почему?

Потому что, по мнению Толстого, человека делает прекрасным не природа, а он сам, его душевные усилия, та внутренняя духовная работа, которой не знали ни князь Василий, ни Анна Павловна, ни Элен.

Ни разу на протяжении всего романа Элен не проявила нормальных человеческих чувств: не испугалась, не обрадовалась за кого-то, никого не пожалела, не горевала, не мучилась...

Толстой подчеркивает ее «мраморные плечи», ее постоянную одинаковую улыбку — она проходит через всю книгу не как живая женщина, а как красивая статуя, потому что духовно она мертва.

И ведь, в конце-то концов, Элен — со всей своей красотой — несчастлива! Это главная мысль Толстого: счастье не дается от природы, его нужно заслужить той духовной работой, которую он ценит в людях,— поэтому счастье заслужила Наташа, а не Соня, поэтому никогда не узнала его великолепная красавица Элен и скоро оно придет к некрасивой княжне Марье.

2. Любовь

Когда товарищи Ростова «шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился».

Он был честный человек и любил Соню. Но именно честные люди страдают и мучаются угрызениями совести, когда к ним приходит любовь более зрелая, чем та, какую они знали раньше. Честные люди вообще живут сложнее, чем бесчестные.

Анатоль Курагин, привезенный свататься к княжне Марье, не испытал к ней ни тени любви; она показалась ему удивительно безобразной. Но он, не раздумывая, женился бы на ней, если бы она не отказала. Женился бы на имени и деньгах ее отца, не утруждая себя сомнениями.

На Николая Ростова, как мы знаем, имела виды Жюли — невеста столь же богатая, как и княжна Марья. Но даже мысль жениться на ее деньгах не мелькнула у него: он не Борис Друбецкой и не Анатоль.

Получается, что быть плохим человеком легче, чем хо-

рошим. Может быть, это и верно. Но, мы видели это на примере Элен, плохому человеку просто не даны многие радости, доступные хорошему. Никогда в жизни Анатоль не испытал того чувства, которое охватило Николая Ростова в церкви при виде молящейся княжны Марьи,— это чувство нужно было заслужить духовной работой.

Но ведь Николай не слишком-то любил задумываться! Мы и раньше знали, что он человек простой, рассуждать не любит, «затем в гусары и пошел». Даже когда на его глазах совершилась чудовищная несправедливость: царь отказался оправдать Денисова — Ростов предпочел остаться нерассуждающим солдатом: подчиниться царскому слову и пить, чтобы не задумываться. И теперь, на войне, он твердо знал, «что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие...» Более того, ему даже враждебными, неприятными кажутся всякие «умствования», склонность мыслить. «В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью...»

Но это же «выражение высшей, духовной жизни» он ценил в своей сестре; потому так поразило его Наташино пение в вечер рокового проигрыша; потому так любовался он Наташей, когда она плясала у дядюшки, и так любил вечерние поэтические разговоры с ней. Его чувство к Соне вспыхнуло в тот единственный вечер, когда она стала похожа на Наташу,— на святках, в морозную сказочную ночь.

Сам того не зная, Николай ждал женщины, живущей духовной жизнью. Княжна Марья, возникнув на его военной дороге, оказалась именно этой женщиной, но он чувствовал себя несвободным, потому что дал слово Соне; он боялся самого себя и придирчиво искал правду: хотел понять до конца, что влечет его к княжне Марье, и боялся — а вдруг ее богатство все-таки имеет для него значение? Вот почему он сердился, когда товарищи подшучивали над его знакомством с княжной Болконской. Вот почему, встретившись с княжной Марьей во второй раз — в Воронеже,— «Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось».

Он приехал в Воронеж «в самом веселом расположении духа», чувствуя себя вправе развлекаться после сражений, к которым ему еще предстояло вернуться.

В этом провинциальном городе, «где мужчин не было никого, кто бы сколько-нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером-гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым», Николай ведет себя вовсе не благовоспитанно, а развязно и даже пошло, но все это — ДО встречи с княжной Марьей.

Когда губернаторша сказала, что его хочет видеть важная дама, племянницу которой он спас, Николай ответил: «Мало ли я их там спасал!»

Эти хвастливые слова — последнее, что он сказал в пошлом тоне. Как только до его сознания дошло, что речь идет о княжне Марье, он покраснел. «При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха».

Ему еще и в голову не приходило, что это любовь. Но когда губернаторша, желая сосватать ему княжну Марью, сказала, что она «совсем не так дурна», Николай почувствовал себя обиженным. Конечно, в его глазах княжна Марья вовсе не дурна!

И совершенно так же, как Пьер в занятой французами Москве вдруг рассказал о своей любви к Наташе чужому человеку Рамбалю, «Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли... этой почти чужой женщине» — воронежской губернаторше.

Кто виноват, что не сложилось счастье Николая и Сони? Есть много причин, одна из них — война, задержавшая Николая в полку и столкнувшая его с княжной Марьей. Виновата, конечно, его мать, мешавшая этому браку, и воронежские дамы, которые решили женить графа Ростова на княжне Болконской. Но главная причина разрыва Николая с Соней — характеры обоих, потому что нигде так полно не раскрывается характер человека, как в любви.

Казалось бы, Ростов преобразился от встречи с княжной Марьей: он обдумывал свою жизнь, он «с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи...» Но в то же время он остался собой, и Толстой напоминает об этом: «Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим», так и теперь он поддался влиянию воронежских дам: ему так легче — предоставить событиям идти, как идут...

«Мне часто в голову приходило, что это судьба»,— сказал Николай губернаторше. Стремление свалить все на судьбу так характерно для него: ведь против судьбы не пойдешь! Но мысль о Соне мучит Николая, и ему приятно слышать от губернаторши те самые слова, которых он не хотел слышать от матери,— о бедности Сони, о невозможности его брака с ней. Он обманывает себя, потому что в душе уже знает, что с Соней все кончено,— казнит себя и презирает, но знает это непреложно.

А княжна Марья ничего не знает о Соне. У нее свои муки совести: сейчас, когда только что умер отец, брат тяжело ранен, несчастье нависло над всей страной, она не считает себя вправе думать о своих личных мечтаниях и надеждах. Отсюда «не радостное, но болезненное чувство», овладевшее ею, когда опять появился Ростов, и ее решение держать себя с ним сдержанно...

Но все эти сомнения, все решения, принятые обоими,— все рушится само собой, стоит им увидеть друг друга. «Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки».

Мадемуазель Бурьен с изумлением смотрит на княжну Марью: она-то умеет ловко принарядить себя бантиками и прической, но не знает она, что любовь преображает человека сильнее, чем любое искусство.

Здесь, рассказывая о княжне Марье, Толстой впервые прямо говорит о той внутренней духовной работе, которая делает человека прекрасным. И это была «недовольная собой работа»! Как в Элен самое уродливое — ее постоянное довольство собой, так красота княжны Марьи — в ее страданиях, стремлении к добру, в ее склонности обвинять и упрекать себя.

Соня преданно любила Николая — но в ней самой не было того духовного огня, который переполнял Наташу и княжну Марью, хотя по-разному. Соня была своя, понятная, близкая — именно поэтому он не мог восторженно любить е. Княжна Марья была далека, и *«он не понимал ее, а только любил»*. (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Это поразительная формула любви, в которой непременно должно оставаться что-то непонятное. Ведь то, что чувствовал Николай: «существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам»,— это

же чувство владело Пьером, когда он понял, что любит Наташу, и Левиным в его любви к Кити; это чувство необходимо любви, хотя иногда оно бывает обманчиво.

Но ведь жалко Соню. За что судьба обделила ее? Будь она не сиротой, а богатой невестой, все могло обернуться иначе. Для Николая оказалось благом то, что Соня — бесприданница, а княжна Марья богата. Но для Сони...

Есть что-то очень горькое в тех страницах, где рассказано, как Соня решилась освободить Николая от его слова. Так понятен ее скрытый бунт против старой графини, которая сначала измучила Соню намеками и оскорблениями, а потом со слезами молила ее пожертвовать собой и отплатить «за все, что было для нее сделано...»

Старая графиня — прежде всего мать, и мы уже видели, что слепая страсть материнства может толкнуть ее на поступок, по меньшей мере, неблагородный. Но когда она отказалась дать подводы раненым, Наташа в своем бурном порыве пристыдила мать. Почему же теперь Наташа молчит? Ведь сожгла же она себе руку линейкой, чтобы доказать любовь к Соне,— оказывается, совершить этот смелый детский поступок было куда легче, чем изо дня в день спорить с матерью из-за Сони.

Наташе не до того. Возле нее раненый, умирающий князь Андрей — может ли она во всю силу души думать о Соне? Да и любит она свою мать, как вступить с ней в долгий, непрерывный конфликт? Нельзя осудить Наташу, но Соне от этого не легче — старая графиня в своем страстном материнстве поступает неблагородно, и некому удержать ее.

Хотелось бы думать, что любовь всегда — высокое, очищающее чувство. Но это не так: любовь бывает и нечистой, и бесчестной. Достаточно вспомнить Пьера, с его темной страстью к Элен, или низкое, зверское чувство Анатоля к Наташе, да и стыдную влюбленность, толкнувшую Наташу к Анатолю.

Но материнская любовь — самое чистое, самое бескорыстное из всех чувств! И она может обернуться низостью, если не контролировать ее разумом, если в этом высшем из проявлений человечности отказаться от сомнений, позволить себе все и не упрекать себя.

Ростовы вырастили Соню, как своих детей. Когда они взяли ее в свой дом, то, во-первых, не задумывались, что будет, когда она вырастет, а во-вторых, тогда они были богаты. Еще в 1806 году старую графиню не пугала

нежная дружба сына с бесприданницей Соней. Но чем ближе семья была к разорению, тем дальше старая графиня уходила от племянницы: ее страстного материнского чувства хватало только на своих, родных — и это безнравственно.

Можно ли было брать девочку в дом, чтобы потом попрекнуть ее этим? Есть поступки, которые нельзя оправдать ничем,— таково поведение старой графини с племянницей, и Соня в глубине души понимает это. «Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони». Но все ее жертвы подсознательно имели одну цель — стать достойней, лучше, выше в глазах Николая. Теперь она должна была «отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни». И в Сониной душе созрел бунт — она «решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним».

Ее новое чувство к Николаю — «страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии»,— осталось ему неизвестным. Он-то знал тихую, преданную и пресную любовь Сони, от этой любви он отказался. Может быть, если бы они встретились... Может быть, если бы князь Андрей остался жив...

Соня понадеялась на эти «если бы». Она не очень искренне написала свое письмо с возвращением данного слова, но кто осмелится упрекнуть ее за эту неискренность, продиктованную любовью?

У Толстого нет счастливых разрешений всех невзгод. Его герои далеко не всегда получают заслуженное счастье, их жизнь сложна. Мы до сих пор плачем и смеемся над страницами его книг, потому что все в них — как на самом деле: горе и радость, мир и война, любовь и смерть.

«Если сколько голов, столько умов, то сколько сердец, столько и родов любви»,— сказала Анна Каренина, когда полюбила Вронского. Эта мысль кажется естественной, простой, пока не вдумаешься в нее. На самом же деле каждый из нас, полюбив, убежден, что испытывает то единственное чувство, которое называется любовью, а оно не единственное, оно у каждого свое; и один человек может любить по-разному в разные свои годы. Княжна Марья и Соня любят Николая не одинаково, и князь Андрей любит Наташу не так, как Пьер, и не так, как он любил свою жену. И Наташа любит Андрея своей, ни на чью не похожей и неповторимой любовью.

3. Смерть

Начало работы над новой книгой — трудный шаг в жизни каждого писателя. Не так-то просто решиться, взять на себя смелость, самому себе сказать: я напишу роман и отдам ему два, три года своей жизни. Никогда нет уверенности, что книга удастся, и особенно мучительны первые дни, недели, даже месяцы, когда обдумывается, выстраивается в воображении книга, которую надо написать.

Толстой работал над «Войной и миром» семь лет. Он много раз менял замысел романа, составил множество планов, бесконечно переписывал главы и отдельные страницы.

Читать планы и черновики, первоначальные наброски и варианты «Войны и мира» невероятно увлекательно. Видишь, как сложно, каким колоссальным трудом дается эта кажущаяся легкость повествования, это естественное течение жизни, сплетение судеб и характеров. Одни герои вырисовываются ярче, другие уходят в тень, третьи исчезают.

Я попробовала однажды прочесть один из последних вариантов романа, не перечитывая перед этим окончательный текст; года три я его не перечитывала.

Было интересно читать так называемый краткий вариант. В нем уже жили все: Пьер, Андрей, Наташа, Николай, Соня... Когда я дошла до того места, где Пьер в плену, а князь Андрей снова встретился с Наташей, что-то стало мешать — какая-то лишняя, чужая, даже фальшивая нота чудилась мне в книге.

Тогда я взялась за окончательный текст «Войны и мира» — и поняла: если бы Толстой не написал этого последнего варианта, тот, предыдущий, казался бы высочайшим достижением литературы. Но Толстой все еще был недоволен собой — и снова переделывал, и снова дописывал,— то, что мы читаем сейчас, больше, чем высочайшее достижение литературы; это жизнь, как она есть.

Что же там было, в кратком варианте?

Пьер, как и теперь, попадал в плен. Но там, в плену, его находил офицер французской армии, которому он спас жизнь,— только там он назывался не Рамбаль, а Пончини и был итальянцем. Пончини пытался помочь Пьеру, но сам вскоре попал в плен к русским.

Ростовы с князем Андреем жили в это время в Тамбове (а не в Ярославле, как в окончательном тексте). Туда к ним приехала княжна Марья. Брат встретил ее «с исхудавшим, переменившимся, виноватым лицом, с лицом ученика, просящего прощения, что он никогда не будет с лицом блудного возвратившегося сына».

Раненый князь Андрей стал добр и мягок, как и его отец перед смертью. Он думает об одном: «Не свое, а чужое счастье!» Зная, что княжна Марья понравилась Николаю Ростову, он хочет устроить счастье сестры, а к Наташе он теперь относится по-дружески, по-братски.

И вот, «улыбаясь доброй болезненной улыбкой», он говорит Соне, что княжна Марья влюблена в Николая. Соня убегает в спальню плакать и думает: «Да, да, это надо сделать; это нужно для его счастья, для счастья дома, нашего дома». Получается, что не старая графиня, а князь Андрей подтолкнул Соню к решению вернуть Николаю свободу, и Соня согласилась на это со слезами, но без бунта. Когда приехала княжна Марья, князь Андрей спросил ее о Николае «с хитрой звездочкой во взгляде:— Кажется, пустой малый?» — и был очень доволен, услышав, как сестра испуганно вскрикнула: «Ах, нет!»

О Наташе он сказал княжне Марье: «Прежнее все забыто... Я... мы дружны и навсегда останемся дружны, но никогда она не будет для меня ничем, кроме как младшей сестрой. Я никуда не гожусь».

В разговоре с Соней князь Андрей говорит: «Я знаю, что меня она никогда не любила совсем. Того еще меньше. Но других, прежде?

— Один есть, это Безухов,— сказала Соня.— Она сама не знает этого».

И с этого дня все — в том числе князь Андрей — начали говорить с Наташей о Пьере, хвалить его. Вдобавок взятый в плен Пончини оказался в Тамбове, рассказал князю Андрею о признаниях Пьера и «был подослан к Наташе», чтобы поведать и ей о любви Пьера.

Могло так быть на самом деле? Почему же — вероятно, могло бы. Но насколько точнее, вернее, проще — насколько естественнее происходит все в последнем, окончательном варианте романа!

Когда мы говорили о третьем томе, я сознательно пропустила сцену встречи князя Андрея с Наташей в Мытищах. Эту сцену нельзя ни пересказывать, ни объяснять: сколько ее ни перечитываешь, она все равно остается

в памяти как одно из самых грустных и сильных впечатлений не литературы — жизни: Наташа, неподвижно сидящая «на том самом месте, на которое она села приехавши», и упрямство, с которым она убедила мать и Соню, что заснула, и «нагоревшая большим грибом сальная свечка» в комнате, где лежал князь Андрей...

«Ей казалось, что-то тяжелое, равномерно ударяя, стучит во все стены избы: это билось ее замиравшее от страха, от ужаса и любви разрывающееся сердце».

«Он был такой же, как всегда; но воспаленный цвет его лица, блестящие глаза, устремленные восторженно на нее, а в особенности нежная детская шея, выступавшая из отложенного воротника рубашки, придавали ему особый, невинный, ребяческий вид, которого, однако, она никогда не видала в князе Андрее. Она подошла к нему и быстрым, гибким, молодым движением стала на колени.

Он улыбнулся и протянул ей руку».

Толстой верен себе: он показывает эту сцену дважды: глазами Наташи, весь день жившей надеждой, что ночью она увидит его, и потом глазами Андрея, который только теперь, в бреду, «понял ее чувство, ее страданья, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею».

«Князь Андрей облегчительно вздохнул, улыбнулся и протянул руку.

— Вы? — сказал он.— Как счастливо!»

Даже цитировать больше кажется кощунством: эти страницы каждый читает наедине с собой; добавлять к ним нечего.



Но — представить себе, чтобы после этой встречи князь Андрей мог сватать Наташу Пьеру, говорить о ней с Соней!

Еще в госпитальной палатке, когда он увидел Анатоля, ему открылась «восторженная жалость и любовь» к людям. Но именно Наташу «изо всех людей в мире ему более всего хотелось любить той новой, чистой божеской любовью, которая была теперь открыта ему...»

Что изменил Толстой, в который уже раз переписывая эти страницы?

Прежде всего, он убрал пленного Пончини — слишком много совпадений получалось, если он встретил бы Наташу. В окончательном варианте романа Пьер называет фамилию и полк Рамбаля, чтобы убедить маршала Даву, что он не шпион, но никакой роли эти сведения не играют. Потом Рамбаль попадает в плен к русским, но не встречается ни с Пьером, ни с кем-либо из его знакомых.

Но это — не главное. Главное — то, что в окончательном тексте князь Андрей любит Наташу и Наташа любит князя Андрея; его разговоры о Наташе с кем бы то ни было невозможны, потому что здоровый или больной, умирающий, но князь Андрей не тот человек, который станет спрашивать у Сони, кого прежде любила его возлюбленная.

В окончательном варианте князь Андрей НЕ становится мягок и добр перед смертью. Княжна Марья ждала этого: «она знала, что он скажет тихие, нежные слова, как те, которые сказал ей отец перед смертью...» Но все было иначе, потому что в жизни ничего нельзя предвидеть и предсказать.

Княжна Марья приехала к Ростовым в Ярославль по трудной объездной дороге, где могли встретиться французы, и привезла ребенка — семилетнего Николушку. Она удивляла спутников своей «твердостью духа и деятельностью»: они не знали, что в эти дни опасного переезда и тревоги за брата в ней проснулся нрав отца; старый князь недаром воспитывал дочь, она вовсе не так беззащитна и беспомощна, как ему думалось в одинокие его последние ночи. Но он никогда уже не узнает, что дочь его выросла сильной и деятельной женщиной.

Он не узнает и того, что Наташа, которую он так несправедливо обидел, эта Наташа будет для его дочери «ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг».

Когда княжна Марья услышала «легкие, стремительные, как будто веселые шаги» Наташи, это резануло

ее по сердцу: княжна Марья со своей тяжелой поступью не знает, что можно оставаться женственной и в горе.

Но при первом взгляде на Наташу она, со своей чуткостью, сразу увидела «на взволнованном лице ее... только одно выражение — выражение любви, беспредельной любви к нему, к ней, ко всему тому, что было близко любимому человеку, выраженье жалости, страданья за других и страстного желания отдать себя всю для того, чтобы помочь им».

В эти горестные и счастливые дни примирения с князем Андреем, когда надежда на его выздоровление сменялась ужасом и счастье возродившейся любви было отравлено страхом за его жизнь,— в эти дни в душе Наташи собрались воедино все силы, которые она накапливала всю жизнь. Как на лице княжны Марьи при встрече с Николаем «в первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу», так все радости и горести Наташи, вся отчаянная жажда жизни, ее способность забывать себя ради близкого человека — все выступило наружу.

Толстой мало рассказывает о том, как Наташа заботилась о князе Андрее. Несколько раз — в скобках, между прочим — он упоминает: «Наташа знала все, что касалось нагноения и т. п.» или: «Она выучилась вязать чулки с тех пор, как раз князь Андрей сказал ей, что никто так не умеет ходить за больными, как старые няни, которые вяжут чулки, и что в вязании чулка есть что-то успокоительное».

Но недаром княжна Марья с первой секунды увидела в Наташе друга и поверила: все, что можно сделать для спасения брата, было и будет сделано той самой Наташей, «которая в то давнишнее свидание в Москве так не понравилась ей».

В первую минуту встречи княжна Марья и Наташа как будто поменялись ролями: некрасивая княжна Марья всегда хорошела, когда ее лучистые глаза наполнялись слезами; Наташа, вбежав своими легкими шагами, тоже заплакала: губа ее «вдруг дрогнула, уродливые морщины образовались вокруг ее рта...» И там, в Мытищах, лицо ее «было более, чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны».

Так еще раз решает Толстой вопрос, что есть красота. Плачущая, некрасивая Наташа прекраснее, чем она была

на бале, во всем блеске своего счастья, потому что «видно было, что в эту минуту ни одной мысли о себе... не было в душе Наташи».

Князь Андрей не стал устраивать счастья своей сестры с Николаем и Наташи с Пьером, как это было в кратком варианте. Он любил Наташу и был счастлив ее любовью, и хотел жить. Так продолжалось почти месяц, но в его состоянии произошел перелом, и княжна Марья застала его совсем не таким, каким ждала увидеть.

«— Здравствуй, Мари, как это ты добралась? — сказал он голосом таким же ровным и чуждым, каким был его взгляд».

«— Да, вот как странно судьба свела нас! — сказал он, прерывая молчание и указывая на Наташу.— Она все ходит за мной».

«— А ты встретилась с графом Николаем, Мари? — сказал вдруг князь Андрей, видимо желая сделать им приятное.— Он писал сюда, что ты ему очень полюбилась...»

Он не понимает, какие чудовищно бестактные вещи говорит о Наташе, о сестре. Раньше понимал, а теперь не понимает, потому что он уже не с живыми.

Вот что мы узнаем от Толстого: когда умирает старый человек, он может смягчиться, прощаясь с жизнью, которую прожил до конца. Князь Андрей умер, не дожив до тридцати пяти лет. Он хотел жить, хотел любить Наташу, быть счастливым. Когда он понял, что умирает, единственное, что ему осталось: отрешиться от жизни живых людей, перестать понимать ее. Та восторженная любовь к людям, которую он понял после ранения, сменилась равнодушием к ним: «всех любить... значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнью».

Если бы князь Андрей, умирая, заботился о тех, кого он оставлял жить, это была бы приукрашенная правда. Толстой нашел правду истинную: теперь князь Андрей «с большим усилием над собой» может понять, что княжне Марье жалко Николушку, который останется круглым сиротой.

Его ровный и чуждый голос поразил княжну Марью больше, чем «ежели бы он завизжал отчаянным криком», потому что в этом голосе была правда: он отказался от жизни, перестал хотеть жить. Так кончилась его любовь к Наташе, и к сыну, и ко всем людям. Так кончилась его жизнь.

4. Возрождение

Вернувшись из плена, Пьер тоже испытал это непонимание радостей и горестей других людей.

«В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий».

Но для Пьера это странное чувство стало шагом на пути к возрождению, к той новой жизни, которая через двенадцать лет приведет его на Сенатскую площадь.

Почему он стал в плену другим человеком? Можно предположить, что страдание очистило его душу, но мы ведь знаем, что душа его и раньше была чиста, и раньше он стремился к добру и правде. Чем обогатил его плен?

Первые дни под арестом были мучительны для Пьера не столько физически, сколько духовно. Он чувствовал себя чужим среди арестованных: «...все они, узнав в Пьере барина, чуждались его». Никогда еще он не был так несвободен: не потому, что был заперт на гауптвахте, а потому, что не мог понять происходящего и «чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины».

Сначала его допрашивала целая комиссия, и он понимал, что «единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его». Потом он предстал перед маршалом Даву, который «для Пьера был не просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек».

Толстой не изображает Пьера гордым героем: он говорил с маршалом Даву «не обиженным, но умоляющим голосом», назвал ему свое имя, хотя скрывал его до сих пор, и, вспомнив Рамбаля, «назвал его полк и фамилию», в надежде, что у Рамбаля справятся о нем. Но все это не могло помочь ему. «Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас

Пьера... Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья». Может быть, Даву увидел в глазах Пьера не только страх, но и ту силу личности, которую создала незаметная со стороны душевная работа.

После казни поджигателей Пьер был присоединен к военнопленным и провел четыре недели в солдатском бараке, хотя французы предлагали перевести его в офицерский. Он «испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек»; но именно в этот месяц он понял что-то очень важное, самое важное для себя — для духовной жизни его этот месяц был счастливым. После расстрела Пьер впервые с огромной силой почувствовал, что разрушилась его вера в благоустройство мира. «Прежде, когда на Пьера находили такого рода сомнения,— сомнения эти имели источником собственную вину... Но теперь он чувствовал, что не его вина была причиной того, что мир завалился в его глазах...»

Когда-то, вступая в масоны, Пьер хотел только усовершенствовать себя; ему казалось: достаточно каждому человеку стать лучше, и все в мире пойдет правильно. Здесь, в плену, он понял, что нужно улучшать не только себя, но и окружающий мир, который «завалился в его глазах,— может быть, именно это заставит его через несколько лет стать членом тайного общества.

Самое сильное из всех впечатлений Пьера — встреча его с пленным солдатом Апшеронского полка Платоном Каратаевым. Для Толстого Каратаев — воплощение народного, естественного образа жизни: круглый, добрый человек с успокоительными аккуратными движениями, все умеющий делать «не очень хорошо, но и не дурно».

Каратаев ни о чем не задумывается: живет, как птица, так же внутренне свободно в плену, как и на воле; каждый вечер говорит: «Положи, господи, камушком, подними калачиком»; каждое утро: «Лег — свернулся, встал — встряхнулся» — и ничто его не заботит, кроме самых простых естественных потребностей человека, всему он радуется, во всем умеет находить светлую сторону. Его крестьянский склад, его прибаутки, доброта стали для Пьера «олицетворением духа простоты и правды».

Но ведь Каратаев никак не мог заронить в душу Пьера стремление улучшить мир. Две любимые истории Платона: одна о том, как его отдали в солдаты за порубку чужого леса и как это получилось хорошо, потому что иначе пришлось бы идти младшему брату, а у того пятеро ребят, и другая — о старом купце, которого обвинили в убийстве и ограблении, а через много лет настоящий убийца, встретив его на каторге, пожалел старичка и признался в своей вине, но пока пришли бумаги об освобождении, старичок уже умер.

Обе эти истории вызывают восторг и радость Каратаева, но обе они о смирении, о том, как человек притерпелся к жестокости и несправедливости. А Пьер делает из них совсем другие выводы.

Встретившись с Каратаевым в самые трудные дни своей жизни, Пьер многому у него научился. Доброта Каратаева, умение легко переносить жизненные трудности, его естественность, правдивость — все это привлекает Пьера.

Но «привязанностей, дружбы, любви, как понимал Пьер, Каратаев не имел никаких»; он жил среди людей, в сущности, одиноко, смиряясь с окружающим злом,— и в конце концов это зло убило его: Каратаева пристрелили французские солдаты, когда он ослабел и не мог идти вместе со всеми пленными.

Пьер запомнит Каратаева на всю жизнь — как воплощение добра и простоты.

Но при этом Пьер преодолеет каратаевское смирение, из горьких дней плена он вынесет свое собственное открытие: человек может стать сильнее окружающей жестокости, он может быть в н у т р е н н е с в о б о д е н, как бы ни был оскорблен и унижен внешними обстоятельствами.

Поэтому во время мучительного перехода вслед за французской отступающей армией, когда многие пленные погибали дорогой и судьба Пьера тоже могла быть решена выстрелом французского солдата, он на одном из привалов, одиноко сидя на холодной земле, вдруг «захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.

— Ха, ха, ха! — смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: — Не пустил меня солдат. Поймали меня,

заперли меня. В плену держат меня. Кого меня?.. Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!..

...Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое. И все это во мне, и все это я! — думал Пьер.— И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам».

Может быть, из этого чувства внутренней свободы и выросла та новая духовная жизнь Пьера, которую сразу заметит Наташа: «Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани; ты понимаешь? — морально из бани».

Но и внешне Пьер очень изменился за время плена. «Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе... Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергической, готовой на деятельность и отпор — подобранностью».

В первые дни плена мучения Пьера обострялись тем, что товарищи по бараку чуждались его: он барин! Но теперь Пьер остался барином, а товарищи по бараку поставили его в положение «почти героя». Тогда, в начале, эти люди чувствовали его внутреннюю растерянность и презирали ее. Теперь их уважение вызывает собранность Пьера и «его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота» — все те стороны его характера, над которыми смеялись в свете, здесь оказались достоинствами.

История духовного обновления Пьера — очень важное открытие Толстого, и вслед за ним мы, читая «Войну и мир», делаем это открытие для себя.

Люди со слабыми характерами часто склонны объяснять все свои неудачи обстоятельствами. А вот Пьер — в самых трудных, мучительных обстоятельствах плена — имел силы совершить огромную духовную работу, и она принесла ему то самое чувство внутренней свободы, которого он не мог обрести, когда был богат, владел домами и поместьями, имел управляющего и десятки обслуживавших его людей. Значит, дело не в обстоятельствах, а в душевной стойкости и силе самого человека.

Но после нравственного подъема, испытанного им в плену, Пьер пережил духовную опустошенность и почувствовал, что не может понять радостей и горестей других людей. Слишком сильны были потрясения, пережитые Пьером. Еще живо в нем воспоминание о взгляде Каратаева, сидевшего под деревом,— перед тем, как его застрелили, он смотрел на Пьера «своими добрыми круглыми глазами», но Пьер не подошел: ему было страшно за себя.

Тогда он не позволил себе понять до конца, что Каратаев сейчас будет убит,— услышав выстрел, и он, и его товарищи по плену не оглянулись и продолжали свой путь, хотя «строгое выражение лежало на всех лицах».

Теперь, когда плен кончился, Пьер должен заново пережить и осмыслить все, и осудить себя, и понять. Поэтому в первое время он не понимает других людей. Но постепенно внутренняя работа, совершенная в плену, начинает приносить плоды. То новое, что он принес из плена, была «улыбка радости жизни», которую он оценил теперь, и то, что «в глазах его светилось участие к людям — вопрос: довольны ли они так же, как и он?»

В день казни он непреложно понял: все люди, которых убили на его глазах, «одни знали, что такое была для них их жизнь...» Теперь он научился ценить эту единственную и непонятную другому жизнь каждого человека — он готов к тому, о чем мечтал с юности: он *может* стать опорой, защитником, руководителем других людей, потому что научился уважать их внутренний мир не меньше, чем свой.

5. Петя Ростов

«Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.

— От генерала,— сказал офицер,— извините, что не совсем сухо...»

Так мы знакомимся с Петей Ростовым, хотя видели его с первых страниц: толстый маленький мальчик, поспоривший с Наташей, что на именинном обеде она

задаст свой отчаянно-веселый и совершенно не предусмотренный хорошим воспитанием вопрос о пирожном; он вертелся вокруг Николая и Денисова, приехавших в отпуск, как всякий мальчишка, который восхищается старшим братом — военным; но мы все еще не замечали его: он маленький...

Когда пришло письмо от Николая о его ранении, девятилетний Петя сурово сказал сестрам: «Вот именно, что все вы, женщины,— плаксы... Я так очень рад и, право, очень рад, что брат так отличился. Все вы нюни!.. Кабы я был на месте Николушки, я бы еще больше этих французов убил...»

Он с упоением играл во взрослого мужчину — эта игра продолжается до самого 1812 года:

«— Ну теперь, папенька, я решительно скажу — и маменька тоже, как хотите,— я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу... вот и все...»

И вот Петя на войне. Что он знает о ней? «Ему все казалось, что там, где его нет, там-то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его теперь не было».

Взрослые люди, окружающие Петю, стараются уберечь его. Генерал, у которого он служит ординарцем, «поминая безумный поступок Пети в Вяземском сраже-



нии, где Петя, вместо того, чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета,— отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова».

Но Петя не послушался генерала, как не послушался позже Денисова и даже Долохова,— какой же мальчик в шестнадцать лет, считая себя взрослым, слушается благоразумных указаний старших?

На войне 1805 года мы видели Николая Ростова таким же юным мальчиком. Но Петя не повторяет своего брата, он другой. Сообщив Денисову, что уже был в сражении под Вязьмой, он рассказывает, как «там отличился один гусар». Николай в его возрасте непременно рассказал бы о своих подвигах — не заметил бы, как приврал. Петя все время боится завраться, он очень честен. Передавая казаку саблю, чтобы тот ее наточил, Петя сказал было: «Затупи...» — но тут же поправился — он боялся солгать: «она никогда отточена не была».

Николай, как и Петя, страстно хотел выглядеть взрослым; он подражал Денисову, никогда бы в жизни не показал своей жалости к пленному мальчику французу и ничем бы не выдал своих чувств. Петя мучается, что его сочтут маленьким, но все-таки спрашивает, нельзя ли накормить пленного.

Познакомившись, наконец, с Петей, мы узнаем в нем черты его семьи и любуемся им: он такой добрый, открытый, чистый! Готов раздать все свои покупки, всем верит, даже маркитанта считает очень честным, и все время старается быть достойным геройского общества, в которое привела его судьба.

Попав в отряд Денисова, Петя, конечно, уже влюблен в него и «решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал,— дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и что Тихон герой, и что *ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту»*. (Курсив мой.— *Н. Д.*). У этого ребенка есть четкие представления о том, что стыдно и что нужно: как его сестра Наташа, он страстно хочет жить правильно, как надо.

Как и всякий подросток, Петя все время боится сделать что-нибудь не так, не по-взрослому. Он старается подражать Денисову, несколько раз повторяет вслед за

Долоховым, что «привык все делать аккуратно»; но детское все-таки побеждает в нем: «Я привык что-нибудь сладкое»,— вырывается у него.

Отправившись с Долоховым в лагерь французов, Петя романтически шепчет: «Я живым не отдамся», а когда все кончилось, нагибается к Долохову, чтобы поцеловать его.

Но вот что удивительно: жестокий, суровый Долохов «поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте». Мы же знаем Долохова — ему ничего не стоило так оборвать мальчишку, что Петя бы сутки корчился от стыда... Почему же Долохов простил мальчику его чувствительность и, может быть, даже сам поддался ей?

Вероятно, потому, что во время их отчаянной поездки Петя, замирая от страха, ни разу этого страха не выдал. Мы ведь помним его брата в первых сражениях — Николай не мог превозмочь себя. А Петя может. Долохов очень неосмотрительно взял с собой в разведку необстрелянного мальчика — мальчик не подкачал, и это понравилось Долохову.

В ночь перед сражением Петя в полусне слышит музыку и командует ею, и чудится ему, что он создает звуки... «Валяй, моя музыка! Ну!..» — думал Петя, и звуки слушались его, и он был счастлив. Огромный, никому и даже самому Пете еще неизвестный мир жил в нем,— мир, полный красоты и добра.

Не готов Петя к войне и ее жестокости, не понимает он войны. Когда Денисов сказал о Тихоне Щербатом: «Это наш *пластун.* Я его посылал *языка* взять» (курсив мой.— *Н. Д.*),— Петя «решительно не понял ни одного слова», хотя и не показал этого. Он чувствует неловкость при мысли о том, что Тихон только что убил человека, и при споре Долохова с Денисовым о пленных: Денисов посылает их в город, Долохов расстреливает — Петя инстинктивно старается не понять этого.

Слушая и наблюдая вместе с Петей, мы видим беспощадность войны, которой он не хочет замечать, потому что играет: то приготавливается к тому, «как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым»; то страстно просится «в самую... в главную...», умоляет: «Мне дайте команду совсем, чтобы я командовал... ну что вам стоит?»

Это «ну что вам стоит?» — детское представление о том, что взрослые все могут,— ранит больнее всего, когда читаешь о Пете.

С этим детским представлением он пришел на войну, выстрелил два раза из своего пистолета, накупил у маркитанта изюма и кремней, наточил саблю... Но он выдержал поездку с Долоховым в лагерь французов, потому что играл в свою игру изо всех сил.

На рассвете, когда невыспавшийся Петя снова бросается к Денисову с мольбой: «Вы мне поручите что-нибудь? Пожалуйста... ради бога...» — Денисов делается суров с ним. «Об одном тебя пг'ошу,— сказал он строго,— слушаться меня и никуда не соваться».

Самое трагическое — контраст между волшебным миром, в котором еще ночью чувствовал себя Петя, и правдой войны, в которой живут все остальные.

Казалось бы, Толстой покажет это сражение глазами Пети, как он всегда делает. Но видим мы на этот раз глазами самого Толстого — перед нами жестокий быт войны: Денисов ехал молча, стало светать, лошади скользили, туман скрывал отдаленные предметы, один француз «упал в грязь под ногами Петиной лошади...»

Петя не видит всего этого, не слушает Денисова, кричащего на него,— он живет в своем выдуманном, сказочном мире.

«— Ура!.. Ребята... наши... — прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице...»

Услышав крик Долохова: «В объезд! Пехоту подождать!» — Петя не слушается и Долохова.

«— Подождать?.. Ураааа!..» — закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым».

Тогда-то и столкнулись два мира: войны и игры в войну. «Послышался залп, провизжали пустые и во что-то шлепнувшие пули». С чудовищной простотой мир войны обрушился на Петю: «во что-то шлепнувшие» — это в него.

Как когда-то под Аустерлицем князь Андрей по-

чувствовал, словно его ударили палкой по голове,— так и теперь все произошло ужасающе просто: казаки увидели, что Петя «тяжело упал на мокрую землю», и «быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась». Денисов увидел «еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети», и все-таки не поверил, все-таки вскрикнул: «Убит?!»

Сколько убитых видел Денисов! Но, может быть, только над телом этого мальчика он окончательно понял, что с каждым убитым уходит целый мир — и уходит безвозвратно. Навсегда.

6. Главнокомандующий Кутузов

Он проходит через всю книгу, почти не изменяясь внешне: старый человек с седой головой «на огромном толщиной теле», с чисто промытыми складками шрама там, «где измаильская пуля пронизала ему голову». Он *«медленно и вяло»* идет перед полками на смотре в Браунау; *дремлет* на военном совете перед Аустерлицем и *тяжело* опускается на колени перед иконой накануне Бородина. Он почти не меняется и внутренне на протяжении всего романа: в начале войны 1805 года перед нами тот же спокойный, мудрый, всепонимающий Кутузов, что и в конце Отечественной войны 1812 года.

Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо: старый главнокомандующий устает, с трудом садится на лошадь, с трудом выходит из коляски; на наших глазах он медленно, с усилием жует жареную курицу, увлеченно читает легкий французский роман, горюет о смерти старого друга, злится на Бенигсена, подчиняется царю, светским тоном говорит Пьеру: «Имею честь быть обожателем супруги вашей, здорова она? Мой привал к вашим услугам...»

И при всем этом, в нашем сознании он стоит особо, отдельно от всех людей; мы догадываемся о его внутренней жизни, которая не меняется за семь лет, и преклоняемся перед этой жизнью, ибо она заполнена ответственностью за свою страну, и ни с кем он не делит эту ответственность, несет ее сам.

Еще во время Бородинской битвы Толстой подчеркивал, что Кутузов «не делал никаких распоряжений, а только соглашался или не соглашался на то, что предлагали ему». Но он «отдавал приказания, когда это требовалось подчиненными», и кричал на Вольцогена, привезшего ему известие, что русские бегут.

Противопоставляя Кутузова Наполеону, Толстой стремится показать, как спокойно Кутузов отдается воле событий, как мало, в сущности, он руководит войсками, зная, что «участь сражений» решает «неуловимая сила, называемая духом войска».

Но, когда нужно, он руководит армиями и отдает приказы, на которые никто другой не осмелился бы. Шенграбенская битва была бы Аустерлицем без решения Кутузова отправить отряд Багратиона вперед через Богемские горы. Оставляя Москву, он не только хотел сохранить русскую армию,— он понимал, что наполеоновские войска разбредутся по огромному городу, и это приведет к разложению армии — без потерь, без сражений начнется гибель французского войска.

Войну 1812 года выиграл народ, руководимый Кутузовым. Он не перехитрил Наполеона: он оказался м у д р е е этого гениального полководца, потому что лучше понял характер войны, которая не была похожа ни на одну из предыдущих войн.

Не только Наполеон, но и русский царь плохо понимал характер войны, и это мешало Кутузову. «Русская армия управлялась Кутузовым с его штабом и государем из Петербурга». В Петербурге составлялись планы войны, Кутузов должен был руководствоваться этими планами.

Кутузов считал правильным ждать, пока разложившаяся в Москве французская армия сама покинет город. Но со всех сторон на него оказывалось давление, и он вынужден был отдать приказ к сражению, «которого он не одобрял».

Грустно читать о Тарутинском сражении. В первый раз Толстой называет Кутузова не старым, но д р я х л ы м — этот месяц пребывания французов в Москве не прошел даром для старика. Но и свои, русские генералы вынуждают его терять последние силы. Кутузову перестали беспрекословно повиноваться — в день, поневоле назначенный им для сражения, приказ не был передан войскам — и сражение не состоялось.

Впервые мы видим Кутузова вышедшим из себя: «трясясь, задыхаясь, старый человек, придя в то состояние бешенства, в которое он в состоянии был приходить, когда валялся по земле от гнева», напустился на первого попавшегося офицера, «крича и ругаясь площадными словами...

— Это что за каналья еще? Расстрелять мерзавцев! — хрипло кричал он, махая руками и шатаясь».

Почему мы прощаем Кутузову и бешенство, и ругань, и угрозы расстрелять? Потому что знаем: он прав в своем нежелании дать сражение; он не хочет лишних потерь. Его противники думают о наградах и крестах, иные — самолюбиво мечтают о подвиге; но правота Кутузова выше всего: он не о себе заботится — об армии, о стране. Поэтому мы так жалеем старого человека, сочувствуем его крику, и ненавидим тех, кто довел его до состояния бешенства.

Сражение все-таки на другой день состоялось — и была одержана победа, но Кутузов не очень радовался ей, потому что погибли люди, которые могли бы жить.

И вот темной октябрьской ночью к штабу Кутузова прискакал верховой.

«— Дежурного генерала скорее! Очень важное! — проговорил он кому-то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней».

Этот верховой — офицер Болховитинов с известием о том, что Наполеон ушел из Москвы.

Много раз я пыталась написать следующую фразу — и не могла, потому что этой фразой надо было пересказать то, что написано Толстым, а пересказать невозможно: все получается плоско и пусто, по сравнению с его словами — единственными, как в стихах:

«Кутузов, как и все старые люди, мало сыпа́л по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.

Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте».

Если сегодня писатель принесет такую рукопись редактору, то редактор, не колеблясь, подчеркнет слова «сыпал» и «задремывал», как устарелые, невозможные в сегодняшнем языке. И во времена Толстого они уже

были такими, но все-таки Толстой воспользовался именно этими словами; более того, они-то и создают всю силу отрывка.

Когда пятиклассники начинают проходить виды глагола и — в связи с этим — суффиксы «-ива», «-ыва», большинство ребят очень возмущается: «Зачем нам вся эта муть?» — и долгие годы, до конца школы, а иногда на всю жизнь, остается у них ощущение, что русская грамматика излишне многообразна, чересчур сложна.

Но в этой сложности, в этом многообразии — красота, и богатство, и величие нашего языка. Что и как написал бы Толстой, если бы в русском языке не было суффикса «-ыва»: Кутузов... мало *спал,* часто *дремал...* Слышите: это совсем не то!

«Кутузов, как и все старые люди, мало сыпáл по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал».

В этой прозе звучит музыка, как в стихах,— звучит она, благодаря странным словам: *сыпáл, задремывал...*

Эти слова придают особый смысл тому, о чем рассказывает Толстой: они обозначают многократность происходящего; за ними встают бесконечные, долгие ночи этой войны, когда старый полководец так же «лежал... облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал...»

Снова, в который раз, Толстой подчеркивает этот *один глаз,* эту *изуродованную голову* старого человека, чьи ровесники давно умерли, и Багратион, который был много моложе его, погиб при Бородине, а он все еще несет свою ношу — ответственность за судьбу России — и несет ее одиноко, не понимаемый почти никем...

«В соседней комнате зашевелились, и послышались шаги...

— Скажи, скажи, дружок,— сказал он Болховитинову своим тихим старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку.— Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?

...Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что-то, но Кутузов перебил его... вдруг лицо его сщурилось, сморщилось...

— Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей...— дрожащим голосом сказал он, сложив руки.— Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! — И он заплакал».

Не буду пояснять эту сцену. Только об одном прошу вас: вспомните старого князя Болконского, и его сына Андрея, и Багратиона, и мальчика Петю, который еще жив и едет под дождем навстречу гибели.

* * *

«— Нагни, нагни ему голову-то,— сказал он солдату, державшему французского орла...— Пониже, пониже, так-то вот. Ура! ребята...

— Ура-ра-ра! — заревели тысячи голосов».

Так ведет себя Кутузов, когда победа уже ясна всем, когда французы бегут, их знамена взяты, а пленные, покрытые болячками, плетутся позади наших солдат.

Кутузов сказал короткую речь: «Благодарю всех!.. Благодарю всех за трудную и верную службу...» — и «вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что-то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам».

Это «самое нужное» — о пленных: «Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?»

И впервые на протяжении всего романа «лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз».

Здесь, с солдатами, он остается самим собой — справедливым и добрым старым человеком, чей подвиг совершен, и люди, стоящие вокруг, любят его, верят ему.

Но как только он попадает в окружение царя, как начинает чувствовать, что его не любят, а обманывают, ему не верят, а за спиной подсмеиваются над ним. Поэтому в присутствии царя и его свиты на лице Кутузова устанавливается «то самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле».

Но тогда было поражение — хотя не по его вине, а по царской. Теперь — победа, одержанная народом,

избравшим его своим предводителем. Царю приходится понять это.

«Кутузов поднял голову и *долго смотрел в глаза* графу Толстому, который, *с какой-то маленькою вещицей* на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, *не понимал, чего от него хотели.*

Вдруг он как будто вспомнил: *чуть заметная улыбка мелькнула* на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял *предмет, лежавший на блюде.* Это был Георгий 1-й степени». (Курсив мой.— *Н. Д.*)

Толстой называет высший орден государства сперва «маленькой вещицей», а потом «предметом». Почему так? Потому что никакие награды не могут измерить того, что сделал Кутузов для своей страны.

Он выполнил свой долг до конца, этот дряхлый старик с одним глазом. Выполнил, не думая о наградах,— он слишком многое знает о жизни, чтобы желать наград. Он кончил свой подвиг. «Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер».

Так кончает Толстой последнюю главу о войне.

7. Непобедимая французская армия

Кутузова мы видим глазами Толстого и уже не можем видеть иначе.

Наполеон двоится в наших глазах: невозможно забыть коротенького человека с толстыми ногами, пахнущего одеколоном,— таким предстает Наполеон в начале третьего тома «Войны и мира». Но невозможно забыть и другого Наполеона: пушкинского, лермонтовского — могучего, трагически величественного.

По теории Толстого, Наполеон был бессилен в русской войне: он «был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит».

Толстой был необъективен в отношении Наполеона: этот гениальный человек многое определил в истории Европы и всего мира, и в войне с Россией он не был бессилен, а оказался слабее своего противника — «сильнейшего духом», как сказал сам же Толстой.

И вот теперь та психологическая победа, которую еще на совете в Филях понимал и чувствовал Кутузов, стала видна всем. Что же решило эту победу? Толстой считает: не распоряжения командования, не планы и диспозиции, но множество простых, естественных поступков отдельных людей: то, что «мужики Карп и Влас... и все бесчисленное множество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его»; то, что «партизаны уничтожали Великую армию по частям», что партизанских отрядов «различных величин и характеров были сотни... Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов».

Толстой совершенно точно понял значение того чувства, которое создало партизанскую войну, заставило людей поджигать свои дома. Выросшая из этого чувства, «дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой, и... не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие».

Несколько раз мельком Толстой показывает французских пленных: дрожащий от холода босой барабанщик, которого пожалел Петя; обмороженные, больные французы, жалкой толпой бредущие за русской армией; и, наконец, Рамбаль — тот самый офицер, который был так весел в первый день, когда французы вошли в Москву.

Тогда Рамбаль чувствовал себя великодушным победителем, рыцарем. Вот как он входил в русский дом: «высокий, бравый и красивый мужчина... молодецким жестом... расправил усы и дотронулся рукой до шляпы». Он снисходительно и добродушно обращался с побежденными русскими: «почтение всей компании», «французы добрые ребята...» Когда Пьер спас ему жизнь, «красивое лицо его приняло трагически-нежное выражение», и он заявил, что Пьер — француз. «Совершить великое дело мог только француз, а спасение жизни его... было, без сомнения, самым великим делом». Пьер не хотел разделять с ним ужин, но Рамбаль был так искренне добродушен, что Пьер поневоле остался. Весь вечер он слушал самодовольную, веселую и пустую болтовню Рамбаля, привыкшего входить победителем в чужие города.

И вот через несколько месяцев мы снова встречаем Рамбаля — вернее, сначала слышим о нем:

«То-то смеху... Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет».

Это рассказывает один солдат другому. Вместе с ними мы приближаемся к костру и видим две «странно одетые фигуры».

Денщик Рамбаля Морель, «обвязанный по-бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку». Сам Рамбаль «хотел сесть, но упал на землю». Когда солдаты подняли его и понесли, Рамбаль «жалобно заговорил: О, молодцы! О, мои добрые, добрые друзья! Вот люди!..— и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату».

Именно в судьбе Рамбаля, умевшего так молодцевато расправлять усы и так снисходительно разговаривать с побежденными, Толстой показывает, в каком жалком положении оказалась великая французская армия. Ведь эти двое даже не попали в плен,— поняв безвыходность своего положения, они сами вышли из леса, где прятались.

Русские солдаты, встретившие французов, могли бы убить их — это было бы бесчеловечно, но понятно после жестокой войны, которую они выиграли. Но жестокости уже нет в душе народа, «чувство оскорбления и мести» уже заменилось в ней «презрением и жалостью».

Французов накормили, дали им водки, Рамбаля отнесли в избу... Молодые солдаты хохотали до упаду, слушая песни Мореля, а старые, улыбаясь, поглядывали на него.

«— Тоже люди,— сказал один из них, уворачиваясь в шинель,— и полынь на своем кореню растет».

Это «тоже люди» было сказано Кутузовым, который всегда чувствует одно с солдатами. Помните: «Мы с е б я не жалели, а теперь и и х пожалеть можно...» (Разрядка моя.— *Н. Д.*)

Для Толстого всегда главное, лучшее качество, которое он ценит в людях,— человечность. Бесчеловечен Наполеон, одним взмахом руки посылающий на гибель сотни людей. Всегда человечен Кутузов, стремящийся и в жестокости войны сохранить жизнь людей.

Это же естественное — по мысли Толстого — чувство человечности живет теперь, когда враг изгнан, в душах простых солдат; в нем и заключено то высшее благородство, которое может проявить победитель.

8. *Наташа и Пьер*

Какое право имеет человек забыть умершего, пережить свое горе, вернуться к радостям жизни, полюбить снова?

Княжна Марья огорчилась, увидев, как изменилась Наташа, встретив Пьера. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его»,— думала княжна Марья...» Но и она, со своим острым нравственным чутьем, чувствовала, что «не имела права упрекать ее даже в душе своей».

Для Толстого красота и величие жизни — прежде всего в ее многообразии, в переплетении горя и радости, в извечном человеческом стремлении к счастью. Потому-то он так любит Наташу, что она переполнена силой жизни и умеет возродиться после стыда, обиды, горя к новым радостям. Это естественное качество человека, и нельзя его осуждать, иначе жизнь бы остановилась.

Наташу возродило новое горе — гибель Пети.

После смерти князя Андрея она чувствовала себя отторженной от своей семьи: мать, отец, Соня, конечно, сочувствовали ей, но разделить ее горе в полной мере они не могли. В ее жизни произошло непоправимое; их жизнь шла, как прежде,— это разделяло ее с родными.

Но вот беда обрушилась на семью — и прежде всего на мать.

Наташа, всецело погруженная в свое горе, не сразу поняла, что случилось. Она теперь избегала даже княжны Марьи, которая раньше, чем она, «была вызвана жизнью» из их общего «мира печали». Княжне Марье нужно было заботиться о Николушке, о восстановлении Лысых Гор, о московском доме. Наташе все это было чуждо: еще недавно «признавать возможность будущего казалось им оскорблением его памяти» — им обеим, а теперь княжна Марья занята устройством этого самого будущего!

Наташа бесконечно повторяла в уме последние свои разговоры с князем Андреем — теперь она иначе отвечала на его вопросы, говорила ему нежные слова, которых не успела сказать. И мысль о том, что «никогда, никогда уже нельзя поправить» сказанного раньше,— эта мысль приводила Наташу в отчаяние.

«Какое там у них несчастие, какое может быть несчастие?» — думала Наташа, идя на зов матери. Но,

увидев отца, она поняла. «Что-то страшно больно ударило ее в сердце. Она почувствовала страшную боль; ей показалось, что что-то отрывается в ней и что она умирает. Но вслед за болью она почувствовала мгновенно освобождение от запрета жизни, лежавшего на ней».

Когда близкий человек умер на наших глазах, мы все-таки с трудом заставляем себя верить, что его нет больше. Но когда мы разлучены с ним и помним его живым, веселым, полным сил, а приходит известие о его смерти,— поверить невозможно, и старая графиня исступленно кричит те самые слова, которые кричали матери и жены во все войны: «Неправда, неправда... Он лжет... Убили!.. ха-ха-ха-ха!.. неправда!»

Из четырех детей одна Наташа здесь, рядом. А самый любимый, младший, убит. Только одна Наташа может — нет, не утешить, не вернуть мать к жизни, но хотя бы охранить ее от безумия.

Наташа «думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей, что *сущность ее жизни — любовь* — еще жива в ней. *Проснулась любовь, и проснулась жизнь»*. (Курсив мой.— *Н. Д.*)

В предпоследнем варианте романа Толстой заставлял Наташу с детства любить одного Пьера, все: и детское увлечение Борисом, и короткая страсть к Анатолю, и влюбленность в князя Андрея — все было ненастоящее.

А в окончательном тексте Наташа любит Андрея со всей силой, на какую она способна, постигает ему самому неясные мысли, хочет понять, что он чувствует, «как у него болит» рана; войдя в его жизнь, она живет ею — поэтому и ее жизнь кончилась, когда его не стало. Но — проснулась любовь к матери, проснулась и жизнь.

Пьер, вернувшись из плена и узнав, что жена умерла и он свободен, не бросился сразу искать Наташу. «О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего».

Оба они слишком чистые люди, чтобы после всего горя, всех потерь и чувства вины, охватившего не только Наташу перед памятью князя Андрея, но и Пьера перед памятью Элен,— чтобы после всего этого искать нового счастья.

Оно пришло случайно — и Пьер не сразу узнал Наташу в женщине с печальными глазами, сидевшей возле княжны Марьи, к которой он приехал.

«В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен».

Это были *не подобные обстоятельства!* Тогда Пьер не понимал и не стремился понимать, что чувствует, о чем думает его избранница, и тем более Элен не интересовалась знать, что происходит в душе Пьера. Теперь, узнав Наташу в этой побледневшей и похудевшей женщине без тени улыбки, Пьер почувствовал, «что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире».

Первая любовь принесла Пьеру горькие муки стыда, потому что в ней не было духовного начала и она делала его хуже в собственных глазах. Любовь к Наташе наполнила его гордостью, потому что он чувствовал над собой суд нравственный, духовный.

Говоря о смерти Элен, он взглянул на Наташу и заметил «в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене». Он сказал правду: «Когда два человека ссорятся — всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть... без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль ее,— кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи». Он сказал правду, и эта правда совпала с тем, чего ждала от него Наташа. Она полюбит в нем то самое, что он сам в себе уважает,— Пьер еще не знает этого, но чувствует, потому он с такой радостью признает над собой Наташин суд.

А она еще вся в своем горе, еще не готова к освобождению от него. Но для нее естественно именно Пьеру рассказать все подробности, все тайны последних дней ее любви к Андрею. Пьер «слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая».

Когда Наташа вышла из комнаты, Пьер «не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире».

Эти два человека — Наташа и Пьер — созданы друг для друга. Созданы Толстым в его воображении, и сначала он увидел их стариками, вместе прожившими

долгую и трудную жизнь. Еще в первом задуманном им романе о вернувшемся с каторги декабристе они были мужем и женой, хотя носили тогда другую фамилию — Лабазовы. Возвращаясь от исторической эпохи шестидесятых годов к истокам декабризма, Толстой увидел их молодыми, Наташу — ребенком. Но он з н а л, с первых страниц своего романа, знал, что эти двое суждены друг другу.

И вот они встретились — казалось, после исповеди Наташи уже нельзя ни о чем другом говорить.

«— Вы пьете водку, граф? — сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего»

Княжна Марья, только что впервые услышавшая рассказ Наташи о любви к ее брату, потрясена не меньше Пьера. Но она — хозяйка дома, и ужин подан, и простые эти бытовые слова вдруг возвращают всех к тому, что, «кроме горя, есть и радости».

Для Пьера — радость и «редкое наслаждение» рассказать Наташе все свои приключения во время плена Для Наташи радость — слушать его, «угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера».

А ведь они оба еще молоды — вся жизнь впереди. Наташе — двадцать один год, Пьеру — двадцать восемь. С этой их встречи могла бы начинаться книга, а она идет к концу, потому что Толстой хотел показать, как формируется, создается человек. И Наташа, и Пьер прошли на наших глазах через соблазны, страдания, лишения — оба они выполнили огромную духовную работу, которая подготовила их к любви.

Пьер сейчас на год старше, чем был князь Андрей в начале романа. Но сегодняшний Пьер — гораздо более зрелый человек, чем тот Андрей. Князь Андрей в 1805 году твердо знал только одно: что он недоволен той жизнью, какую ему приходится вести. Он не знал, к чему стремиться, он не умел любить. Вот что знает теперь Пьер: «Говорят: несчастия, страдания... Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное мясо».

В молодости кажется, что любовь — это чувство, естественное и прекрасное только для очень молодых людей. Действительно, чем старше человек, тем труднее ему полюбить, потому что опыт страданий рождает страх перед новой душевной болью. Но н е м о ж е т полюбить

в зрелом возрасте только человек с опустошенной душой. Пьер чувствует потребность поделиться своим духовным богатством. «Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже»,— говорит он Наташе, и это правда.

Но и Наташа, возродившись к новому счастью, взяла с собой горький опыт прежних ошибок и страданий. «Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.

— В Петербург? — повторила она, как бы не понимая».

Совершенно так же она в свое время не понимала, зачем уезжает князь Андрей: проснувшаяся в ней сила жизни требует немедленного и полного счастья.

«— Только для чего же в Петербург! — вдруг сказала Наташа и сама же поспешно ответила себе: — Нет, нет, это так надо... Да, Мари? Так надо...»

Любовь, соединившая этих людей теперь, когда они оба имеют душевный опыт, обогатит их обоих и, может быть, она сделает их более счастливыми, чем если бы они нашли друг друга несколько лет назад, когда Пьер еще не прошел плена, а Наташа — заблуждений, стыда, горя.

«Радостное, неожиданное сумасшествие», овладевшее Пьером во время его пребывания в Петербурге, очень похоже на состояние другого героя Толстого — Константина Левина, когда он сделал предложение Кити. Так же все люди кажутся Пьеру красивыми, добрыми и счастливыми, так же она представляется ему существом неземным: «совсем другое, высшее».

Но потом, всю свою жизнь вспоминая это свое состояние, Пьер «не отрекался... от этих взглядов на людей и вещи». В этот период «счастливого безумия» он научился видеть в людях их лучшие стороны и, «беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их».

Это умение пригодится ему в той трудной, долгой и прекрасной жизни, которую он проживет не бесполезно и не одиноко — рядом с ним всегда теперь будет Наташа.



Вся моя мысль в том, что ежели люди порочные связаны между собой и составляют силу, то людям честным надо сделать только то же самое. Ведь как просто.

1. Новая жизнь Лысых Гор

Где тишина? Где строгий дворецкий и почтительный лысый управляющий Алпатыч, закладывавший руку за пазуху при всяком упоминании о князе Болконском? Где величественный маленький старик, каждое утро выходивший на свою неизменную прогулку?

Прошло восемь лет с тех пор, как умер старый князь и погиб его сын Андрей. Уже семь лет, как княжна Марья Болконская стала графиней Марьей Ростовой.

Все изменилось в Лысых Горах: и дом, и сад, и поместье. Все заново отстроено после войны. Новый хозяин — граф Николай Ильич Ростов — поставил все прочно и крепко.

Имение Болконских в хороших руках: обширный дом способен вместить до ста человек гостей; жизнь идет спокойная, «ненарушимо правильная»; хозяин заботится не только о своем имуществе, но и о крестьянском; весной в летом Николай занят урожаем, осенью — охотой, зимой — чтением серьезных книг. У хозяйки — свои заботы: хлопоты о доме, о муже, дети, их воспитание, дневник, в котором она записывает свои мысли о детях...

Обе семьи, Ростовых и Безуховых, живущие в эпилоге в старом лысогорском доме, счастливы. Но, вопреки утверждению Толстого в «Анне Карениной», что все счаст-

ливые семьи счастливы одинаково, они счастливы по-разному.

Семья Ростовых крепка потому, что основана на постоянной духовной работе графини Марьи, на том, что ее «вечное душевное напряжение, имеющее целью только нравственное добро детей», восхищает и удивляет Николая.

Удивление перед «возвышенным нравственным миром» любимого человека всегда играет огромную роль в любви и браке. Николай не переставал удивляться и потому гордился своей женой, не завидуя тому, что она умнее его, ее душевный мир значительней, а радуясь, «что она с своей душой не только принадлежала ему, но составляла часть его самого».

А графиня Марья, при всей своей глубокой внутренней жизни, «чувствовала покорную, нежную любовь к этому человеку, который никогда не поймет всего того, что она понимает», и не спорила с мужем о тех вещах, о которых — она знала — спорить бесполезно.

Для Николая главное в жизни — дом, дети, хозяйственные дела. Графиня Марья понимает, «что он слишком много приписывает важности этим *делам*» (курсив Толстого), но она знает и другое: «что не о едином хлебе сыт будет человек» — людям нужны не только материальные, но и духовные, нравственные ценности. Тем не менее она не спорит с мужем. Когда Николай говорит Пьеру слова, вызывающие у нас ненависть: «вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду» — графиня Марья не осуждает мужа, хотя в душе она не согласна с ним. Но она женщина и мать, ее главная забота — семья, и она старается сохранить свои отношения с мужем, если даже для этого приходится кривить душой.

В семье Безуховых — все иначе. Мы все с ужасом думаем о Наташе в эпилоге, навсегда запомнив злосчастную «пеленку с желтым вместо зеленого пятна», с которой она, «растрепанная, в халате могла выйти большими шагами из детской» навстречу близким людям. Нас оскорбляет то, что «в ее лице не было, как прежде, этого непрестанно горевшего огня оживления, составлявшего ее прелесть. Теперь часто видно было одно ее лицо и тело, а души вовсе не было видно. Видна была одна сильная, красивая и плодовитая самка».

Но не нужно спешить осуждать Наташу, лучше подумать спокойно.

В жизни каждой счастливой женщины бывают такие прекрасные периоды, когда цвет пятна на пеленке ей важнее всего на свете, будь она доктор наук, летчица или актриса. Можно только пожалеть женщин, которые этого не испытывали, потому что при всей нашей сегодняшней свободе выбора профессии, при всем равенстве с мужчиной, нам дано единственное, только женское счастье материнства, оно вечно и неистребимо, без него остановилась бы жизнь.

Я часто замечала: те самые девушки, которые в девятом классе жарче всех осуждают Наташу в эпилоге,— через несколько лет становятся самыми страстными мамами. Это не случайно, в них живет Наташа Ростова, ее непрестанно горящий огонь оживления заставляет их в юности мечтать о космических полетах и геологических партиях; он же приводит их к страстному материнству, как и Наташу.

Но потом, когда их дети подрастают, эти молодые женщины возвращаются в бурную жизнь своей профессии или общественной деятельности, а Наташа...

Да, конечно, Наташа не станет ни геологом, ни профессором, ни даже певицей — в ее время это было невозможно. Но те самые картины ее жизни в эпилоге, которые так возмущают нас при поспешном чтении, если прочесть их внимательно, расскажут о высоком подвиге ее будущей жизни — о подвиге, к которому она готова.

Чем же она живет теперь, эта прежняя волшебница, а теперь опустившаяся, неряшливая, даже скуповатая женщина? У нее нет своего внутреннего духовного мира, как у графини Марьи, но зато она полна уважения к духовному миру Пьера.

Вспомните: ревнивая и деспотичная Наташа сама предложила Пьеру поехать в Петербург, когда узнала, что его присутствие необходимо членам общества, которое он основал.

Она требовала, чтобы Пьер «нераздельно принадлежал ей, дому», но дом свой она поставила так, что выполнялись все желания Пьера,— и даже невысказанные его желания она угадывала. Так было не только в бытовых делах; так было с воспитанием детей, и с занятиями Пьера, и с самым духом дома. Она не просто

слушала Пьера, а впитывала его мысли, и «он видел себя отраженным в своей жене»; это радовало его, потому что Наташа отражала главное и лучшее в нем.

«Всему, что было умственным, отвлеченным делом мужа, она приписывала, не понимая его, огромную важность и постоянно находилась в страхе быть помехой в этой деятельности ее мужа».

Не понимая Пьера умом, она чутьем угадывала то, что было самым важным в его деятельности, разделяла его мысли только потому, что это были его мысли, а он для нее — самый честный, самый справедливый человек на свете.

Вот они, наконец, остались вдвоем в день приезда Пьера. Теперь Пьер может рассказать обо всем, что его волнует, будучи вполне уверенным, что его поймут. Там, в Петербурге, рассказывает он, «без меня все это распадалось, каждый тянул в свою сторону. Но мне удалось всех соединить».

Наташа вспоминает Каратаева: одобрил бы он деятельность Пьера? Нет, не одобрил бы — но Пьер уже пошел дальше мыслей, внушенных ему Каратаевым, он делает свое дело без колебаний.

И Николая, при всей любви к нему, Наташа понимает теперь так же, как Пьер:

«— Так ты говоришь, для него мысли забава...

— Да, а для меня все остальное забава... Николай говорит, мы не должны думать. Да я не могу...»

Всю свою жизнь Пьер не мог не думать. Но раньше он думал о самоусовершенствовании. Теперь его мысль проста: «возьмемтесь рука с рукою те, которые любят добро...»

Эта мысль привела к созданию тайного общества, она выведет его на Сенатскую площадь, с ней он пойдет на каторгу.

И следом за ним, оставив детей брату и невестке, поедет Наташа, в кибитке, лишенная всех дворянских прав и привилегий,— ни минуты сомнения нет у нас в том, что она поедет, и будет преданной женой декабриста, как Волконская, как Трубецкая, Муравьева, Фонвизина...

Так разве мы смеем осуждать ее за пеленку?!

2. Князь Николай Андреевич Болконский

Этот мальчик на семь лет моложе Пушкина и на восемь лет старше Лермонтова; он — между ними.

Самый младший из всех героев «Войны и мира», он родился на наших глазах 19 марта 1806 года, в ночь, когда его отец, которого считали убитым, вернулся с войны живой, а мать умерла и на мертвом лице ее был укоризненный вопрос: «Ах, что вы со мной сделали?»

Мы помним этого мальчика годовалым, когда он «улыбнулся Пьеру и пошел к нему на руки». Мы помним его семилетним у постели умирающего отца, когда он «все понял и, не плача, вышел из комнаты, молча подошел к Наташе, вышедшей вслед за ним, застенчиво взглянул на нее задумчивыми прекрасными глазами; приподнятая румяная верхняя губа его дрогнула, он прислонился к ней головой и заплакал».

В конце 1820 года ему почти пятнадцать лет. Где-то в другом доме бегает с игрушечной саблей мальчик моложе его — любимый брат Сергея и Матвея Муравьевых-Апостолов, Ипполит. Восемнадцати лет он пойдет с братьями под знамена восстания и, увидев, что оно разгромлено, выстрелит себе в рот.

Николеньке Болконскому будет в то время почти двадцать, и он станет не просто Николенькой, а князем Николаем Андреевичем Болконским. Болконские живы в подростке с тонкой шеей, с приподнятой верхней губой, как у матери, и с лучистым взглядом отца.

Он живет в доме тетки — в том доме, где был бы хозяином его отец, если бы остался жив. Никто не обижает мальчика: конечно, он сыт и одет, у него тот самый гувернер-швейцарец, которого еще отец привез из своего путешествия за границу; графиня Марья любит его, и дядя Николай заботливо ведет хозяйство в его имениях...

Будущее мальчика ясно: блестящее образование, богатство, знатность; перед ним — Болконским — открыта любая карьера; он может возродить забытое имя отца и деда, продолжить их древний род. Но Николенька одинок в этой большой семье, в этом шумном доме. Графиня Марья беспокоится за него: «он вечно один со

своими мыслями». Вероятно, она права в своем беспокойстве. В пятнадцать лет человек очень зорко видит и слышит все, что происходит вокруг него, и очень твердо судит о людях, и хорошо знает, чего он хочет от жизни. Позднее что-то может измениться, но все-таки в пятнадцать лет многое в человеке сформировалось уже навсегда.

Чем живет одинокий мальчик — князь Николай Болконский? Он «любил дядю; но любил с чуть заметным оттенком презрения. Пьера же он обожал. Он не хотел быть ни гусаром, ни георгиевским кавалером, как дядя Николай, он хотел быть ученым, умным и добрым, как Пьер».

Он придумал князя Андрея — как всякий мальчик, выросший без отца, придумывает его себе. «Несмотря на то, что в доме было два похожих портрета, Николенька никогда не воображал князя Андрея в человеческом образе». Он был «божеством, которого нельзя было себе вообразить», а Пьер был его другом, и он любил Наташу, которую любил отец. Его представление о том, что было между Наташей, его отцом и Пьером, о жизни отца и Пьера до войны — верно и неверно. Что-то он знает из рассказов взрослых, но освещает в своем воображении волшебным, поэтическим светом. Что-то он придумывает — и уже навсегда верит тому, что придумал.



Но, как бы ни было, из всех людей на земле он выбрал образцом для себя Пьера — того, кого любил и кому верил его отец, с кем бы он был вместе.

И Пьер выделяет его среди всех детей: «Мы совсем не видались с тобой. Мари, как он похож становится...

— На отца? — сказал мальчик, багрово вспыхнув и снизу вверх глядя на Пьера восхищенными, блестящими глазами».

Все, что говорит Пьер, остается в его душе. «Он не проранивал ни одного слова из того, что говорил Пьер, и потом с Десалем и сам с собою вспоминал и соображал значение каждого слова Пьера».

О чем же говорит Пьер? Денисов расспрашивает его «то о только что случившейся истории в Семеновском полку, то об Аракчееве, то о Библейском обществе». Мальчик, забытый в своем уголке, слушает. «Денисов, недовольный правительством за свои неудачи по службе, с радостью узнавал все глупости, которые, по его мнению, делались теперь в Петербурге...» Даже Николай, расспрашивая Пьера о петербургских делах, невольно подогревает любопытство мальчика. Да еще Денисов кричит: «Ох! спустил бы опять молодца нашего Бонапаг'та! Он бы всю дуг'ь повыбил».

Почему они так говорят? Чем они недовольны? И что думает обо всем этом ученый, умный и добрый дядя Пьер?

Пьер считает, «что обязанность всех честных людей противодействовать по мере сил.

— Что ж честные люди могут сделать? — слегка нахмурившись, сказал Николай.— Что же можно сделать?»

Николай, как и всякий ограниченный человек, считает, что подростку — для его же блага — лучше не слышать, о чем спорят взрослые.

«— Зачем ты здесь?

— Отчего? Оставь его,— сказал Пьер».

И, оставшись с большими в кабинете, Николенька услышал: «...все гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения,— мучат народ; просвещение душат. Что молодо, честно, то губят!..»

Пьер говорит это в декабре 1820 года, когда изнуренный лихорадкой Александр Пушкин томится в кишиневской ссылке, когда Павел Пестель по ночам думает над рукописью «Русской правды», по всей армии слышатся разговоры о восстании, всколыхнувшем Семеновский полк, а стихотворение Рылеева «К временщику» уже пошло по рукам, и люди учатся думать, читая эту злую сатиру на Аракчеева.

В Петербурге честные люди собираются, чтобы содействовать просвещению и благотворительности. Пьер

считает: «Цель прекрасная и все, но в настоящих обстоятельствах надо другое... пусть будет не одна добродетель, но независимость и деятельность».

Пьер ненавидит Аракчеева, но, кроме того, он боится народного бунта. «Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военное поселение...»

Мальчик Николенька не думает ни об Аракчееве, ни о Пугачеве; его волнует справедливость. «Бледный, с блестящими, лучистыми глазами», он напоминает о себе:

«— Дядя Пьер... вы... нет... Ежели бы папа был жив.. он бы согласен был с вами? — спросил он.

Пьер вдруг понял, какая особенная, независимая, сложная и сильная работа чувства и мысли должна была происходить в этом мальчике во все время его разговора, и, вспомнив все, что он говорил, ему стало досадно, что мальчик слышал его. Однако надо было ответить ему.

— Я думаю, что да,— сказал он неохотно и вышел из кабинета».

Николай твердо знает, что Николеньке «вовсе тут и быть не следовало».

Пьеру тоже «стало досадно, что мальчик слышал его»,— но в нем живет то редкое, естественное чувство правдивости по отношению к детям, которое рождает настоящих воспитателей. Пусть неохотно, но он отвечает мальчику правду.

И вот Николенька видит сон, которым кончается сюжетная часть романа Толстого (в эпилоге есть еще вторая часть, философская, но последнее событие в книге — сон Николеньки). «Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска... Впереди была слава... Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали ослабевать, путаться; стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе...»

Потом Пьер превратился в отца; отец ласкал и жалел Николеньку, но «дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас обхватил Николеньку, и он проснулся».

Этот сон можно толковать по-разному; конечно, он навеян сегодняшними разговорами, но в нем, кроме то-

го,— вся душевная работа замкнутого мальчика за долгие месяцы.

Что будет с этим мальчиком через пять лет — в декабре 1825 года? Как может сложиться его судьба, если он честен и умеет думать, если он верит Пьеру и мечтает о славе, как его дед — под Измаилом, отец — под Аустерлицем? Куда может привести судьба чистого, самоотверженного мальчика 1806 года рождения, наследника лучших людей русской интеллигенции?

Его отец и дед живут в нем; и он, сам того не зная, живет их духом. «А отец? Отец! Отец! Да, я сделаю то, чем бы даже *он* был доволен...» (Курсив Толстого.)

Так думает князь Николай Андреевич Болконский — в Сибири он перестанет быть князем, потому что царь лишит декабристов дворянства, но везде он останется Болконским, и князь Андрей пройдет с ним и с Пьером Сенатскую площадь, тюрьму и каторгу — почетный путь русского дворянина.

3. И снова...

Старинная пословица говорит: нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это будет уже другая река — она течет, движется, меняются ее берега; и вода, и небо над ней каждую секунду становятся иными. Человек тоже меняется — каждое прожитое мгновенье рождает в нем новый опыт, новую мысль, новое чувство.

Нельзя дважды войти в одну и ту же книгу. Если это настоящая книга, она движется и растет вместе с нами.

«Война и мир» — из тех книг, которые нельзя перечитывать; ее каждый раз читаешь заново и заново открываешь для себя Наташу и Пьера, князя Андрея и мальчика Николеньку, Кутузова, Долохова, капитана Тушина... Заново открываешь себя самого, потому что книга эта всякий раз рождает новые мысли.

В самом ее названии — вся жизнь человеческая: ВОЙНА и МИР. Это книга о рождении и смерти, о любви и горе, о счастье и страданиях, о молодости и старости, о чести, благородстве, о серьезности и легкомыслии, о разочарованиях, потерях и поисках... Эта

книга охватывает все, чем живет человек, от самых маленьких личных событий до грандиозного и величественного единения людей в час общей беды народа.

Для каждого из нас при каждом чтении это новая книга: сегодня она о Наташе, завтра — о Кутузове, через год — о Пьере. На самом же деле это всегда книга о том, что произошло с целым народом, поэтому каждый из нас видит в ней свое, поэтому в дни испытаний мы прибегаем к роману Толстого за помощью, советом, исцелением.

Поэтому второй такой книги нет. Дело не только в том, что она охватывает две разные войны, и годы мира между войнами, и еще годы после войны; в ней меняются поколения: уходят старики, дети становятся взрослыми, а взрослые — стариками, и уже новые дети шумят в старых домах.

Каждый из старых и молодых, взрослых и детей, появившихся на ее страницах, объясняет нам не только то, что было вчера, но и то, что есть сегодня, будет завтра — вот почему второй такой книги нет.

Я снова открываю «Войну и мир», чтобы проверить какую-то цитату, и, открыв, зачитываюсь надолго.

Опять Наташа пляшет у дядюшки, и он видит, что ее «дух и приемы... были те самые, неподражаемые... русские», которых ждут от нее все вокруг. Она еще счастлива, полна радости и любви, еще не испытала горя — но в сердце ее уже живет та Наташа, которая отдаст повозки раненым, а много позже станет женой декабриста.

Снова поднимается грозная народная стихия навстречу Наполеону, и купец Ферапонтов поджигает свой хлеб, а другие купцы несут горящие бревна в свои дома, чтобы поджечь их, и мужики в белых рубахах работают на поле сражения, как привыкли работать на мирных полях.

Я перечитываю «Войну и мир» и вижу страницы и главы, о которых ничего не сказала: ночь на святках; опера, которую Наташа слушает рядом с Элен; женитьба Бориса на Жюли; объяснение Андрея с отцом, многие страницы о войне — и каждая строчка рождает новые и новые мысли.

Но вот страницы, над которыми я думала, о которых писала:

«Пьер... сидел у себя наверху перед столом в накуренной низкой комнате, в затасканном халате и пере-

писывал подлинные шотландские акты, когда кто-то вошел к нему в комнату. Это был князь Андрей.

— А, это вы,— сказал Пьер с рассеянным и недовольным видом.— А я вот работаю,— сказал он, указывая на тетрадь с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу».

Как же так? Сколько раз я читала эти строки — и никогда не видела в них того, что вижу сегодня. Внизу, у графини Елены Васильевны,— раут, на нем присутствуют важные лица, но Пьер с некоторых пор «стал чувствовать тяжесть и стыд в большом обществе» — я читаю это как бы впервые, потому что раньше не обращала внимания ни на то, как плохо Пьеру в своем доме, ни на то, что он опять живет наверху — в той комнате, где жил при отце, куда поднимался к нему Борис Друбецкой. И никогда я не замечала, что Пьер курит,— это ему, кажется, и не идет совсем!

И «затасканный халат», напоминающий Обломова,— нет, Пьер другой, он умеет заставить себя работать; но нужно ли это? Никогда раньше я не видела трагических строк: «с тем видом спасения от невзгод жизни, с которым смотрят несчастливые люди на свою работу»,— ведь это правда, в работе действительно спасенье, но Толстой как будто осуждает или, может быть, жалеет Пьера... А я всегда считала достоинством способность уйти в работу от горя, раздражения, тоски. Правильно ли я понимаю Толстого и как же быть на самом деле, если человеку плохо и только в своем труде он находит утешение?

«Князь Андрей с сияющим, восторженным и обновленным к жизни лицом остановился перед Пьером и, *не замечая его печального лица, с эгоизмом счастия улыбнулся ему.*

— Ну, душа моя,— сказал он,— я вчера хотел сказать тебе и нынче за этим приехал к тебе. Никогда я не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг» (Курсив мой.—*Н. Д.*)

Что же такое дружба, если Пьеру плохо, а князь Андрей не видит этого и занят собой? Но — с другой стороны — что же такое дружба, если несчастливый Пьер отвечает: «я очень рад» — и «действительно лицо его изменилось, морщина разгладилась и он радостно слушал князя Андрея».

Неужели все это можно объяснить так просто, что князь Андрей в этой сцене плох, эгоистичен, а Пьер благороден и хорош? Но ведь через три года Пьер будет так же счастлив своей любовью к той же Наташе — и забудет все горе, причиненное им обоим смертью князя Андрея,— нет, нельзя судить так просто; все в человеке сложнее; счастье эгоистичнее горя, и как осуждать счастливого за то, что он счастлив?

Но как прекрасна эта способность забыть свою беду и обрадоваться за другого!

«— Я бы не поверил тому, кто бы мне сказал, что я могу так любить,— говорил князь Андрей.— Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины: одна — она и там все счастье, надежда, свет; другая половина — все, где ее нет, там все уныние и темнота...

— Темнота и мрак,— повторил Пьер,— да, да, я понимаю это».

Они говорят каждый о своем — и оба об одном; они понимают друг друга с полуслова — и вовсе не понимают; но это и есть дружба; не дано одному человеку понять в другом все — хорошо это или плохо?

И снова я открываю «Войну и мир» — и перечитываю много раз читанные страницы. Опять Кутузов идет перед строем войск; опять капитан Тушин бегает со своей трубочкой от одного орудия к другому; и Долохов мечет банк, и Наташа гадает перед зеркалом... Я читаю все эти знакомые строки, но в каждой из них открывается новое, неизведанное; их нельзя исчерпать, их можно только читать снова и снова...

Оглавление

I

II

III

IV

V

Литературно-художественное издание

Для среднего и старшего школьного возраста

Долинина Наталья Григорьевна

По страницам «ВОЙНЫ И МИРА»

Ответственный редактор О. В. Москалёва
Художественный редактор Н. Н. Косарева.
Технический редактор Т. С. Харитонова.
Корректоры Н. Н. Жукова.

ИБ 11357

Сдано в набор 27.03.89. Подписано к печати 08.08.89. Формат 84×108[1]/₃₂. Бумага книжно-журнальная № 2. Шрифт литературный. Печать высокая. Уч.-изд. л. 14,23. Усл. печ. л. 13,44. Усл. кр.-отт 13,86. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1201 Цена 85 коп. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Республиканская ордена «Знак Почёта» типография имени П. Ф. Анохина Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Петрозаводск, ул. «Правды», 4



85 к.


По страницам «ВОЙНЫ и МИРА»